Н. Якушин

Достоевский в Сибири

Н. Якушин ДОСТОЕВСКИЙ В СИБИРИ



Ф. М. Достоевский в 40-х годах

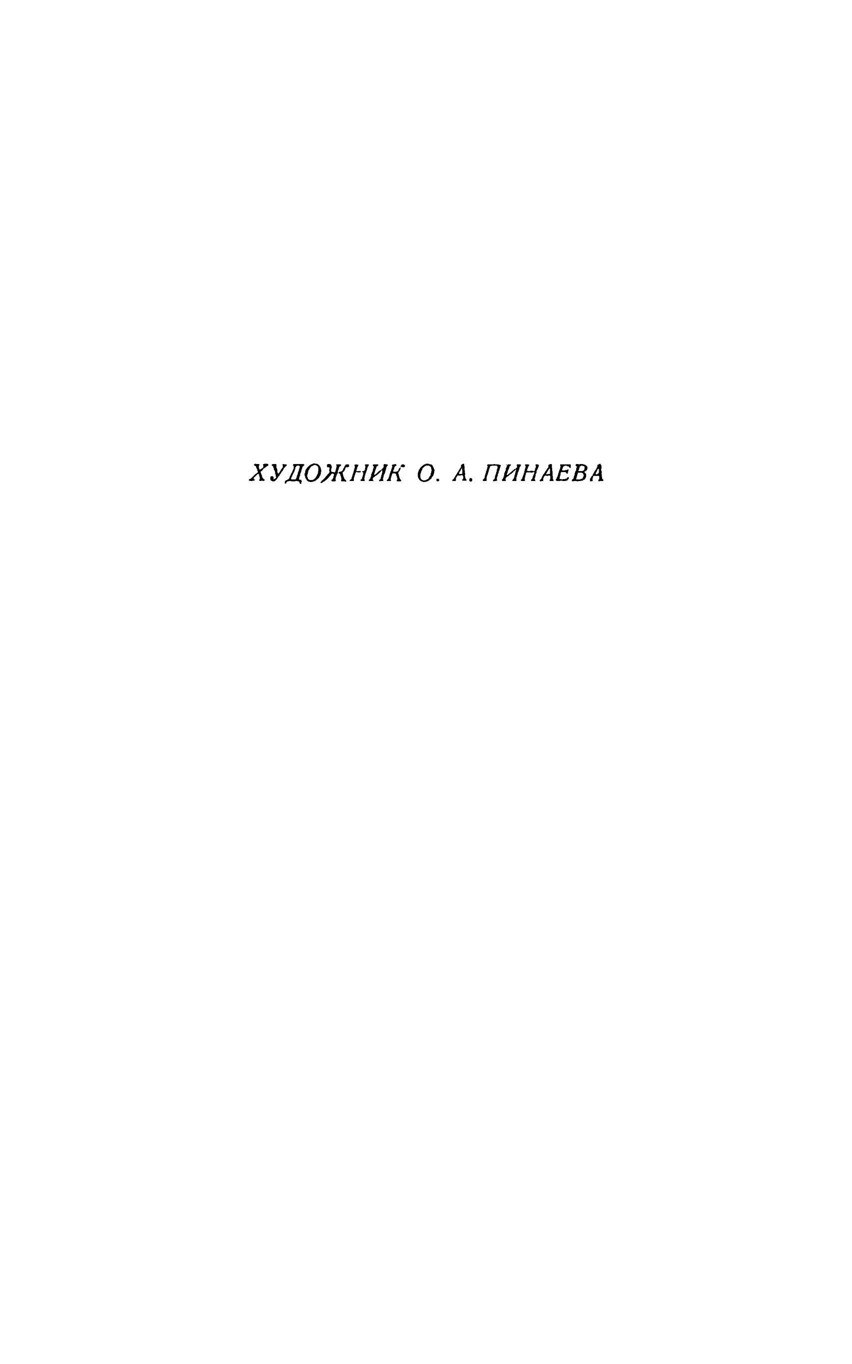
С рисунка художника К. Трутовского. 1847 г.

Н. Якушин

Достоевский в Сибири

Очерк жизни и творчества

КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1960



ХУДОЖНИК О. А. ПИНАЕВА

ОТ АВТОРА

Имя великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского стоит в ряду выдающихся имен не только русской, но и всей мировой литературы. В своих произведениях он нарисовал яркие картины жизни русского общества в период глубочайшего кризиса самодержавно-помещичьей России, в период бурного роста капиталистических отношений в стране. В них нашли свое отражение искреннее сочувствие писателя ко всем униженным и оскорбленным людям, глубокая любовь к русскому народу. Гнев и ненависть вызывают у Достоевского общественные порядки, уродующие, обесценивающие человеческую личность, подавляющие в человеке все самое лучшее, самое светлое. В своем творчестве писатель запечатлел невыносимо тяжелую жизнь простого человека в буржуазном обществе, его мучительные поиски выхода из противоречий действительности.

Сила Достоевского — в страстном обличении собственнической морали буржуазного общества, налагающей свою страшную лапу на человеческое сознание, в глубокой любви ко всем обездоленным, в глубокой вере в великое будущее русского народа и в счастливую жизнь всего человечества, в умении заглянуть в самые сокровенные уголки человеческого сердца. Именно это привлекало и привлекает к великому писателю интересы миллионов читателей в нашей стране и за ее пределами.

Вместе с тем творчество Достоевского и его мировоззрение были глубоко противоречивы.

Выступивший в начале творчества как сторонник утопического социализма, как ученик Белинского, а потом Петрашевского, Достоевский затем отошел от передовых идей своего времени, отошел от освободительного движения и в конце концов оказался в лагере реакции, стал врагом революционной демократии, всех прогрессивных сил, боровшихся за коренное социальное преобразование России, за освобождение народа от векового гнета. Это не могло не сказаться и на творчестве великого писателя. В произведениях Достоевского стали появляться надуманные, фальшивые образы, провозглашающие реакционные философские и

социально-политические идеи самого автора, сущность которых сводилась к призыву человека смириться с бедственным своим положением, к отказу от революционного пути изменения жизни, к проповеди христианского всепрощения.

В углублении противоречий и в эволюции мировоззрения Достоевского большую роль сыграли разгром кружка Петрашевского, к которому принадлежал писатель, и последовавшие за этим гнусная инсценировка казни, каторжные работы и солдатчина в Сибири. Все это сломило писателя, заставило его потерять веру в идеи социализма, в революционный путь преобразования действительности. Отсюда понятно, какое важное место занимает в творчестве Достоевского сибирский период его жизни.

Вокруг наследия великого писателя никогда не утихала и не утихает ожесточенная борьба. Буржуазные идеологи всех мастей стараются сделать Достоевского знаменем реакции, используя для этого ошибочные и реакционные положения его мировоззрения. Причем они нередко прибегают к сознательной подтасовке фактов.

Советское литературоведение внесло немалый вклад в изучение творчества Достоевского. В целом ряде исследований и статей советские ученые с позиций марксистско-ленинской науки о литературе раскрыли противоречия в мировоззрении и художественном методе великого писателя, показали сильные и слабые стороны его творчества.

Следует отметить, однако, что многие исследователи хотя и говорят, что сибирский период жизни занимает важное место в идейной и творческой эволюции Ф. М. Достоевского, но сами освещают этот период очень бегло. Они обычно сосредоточивают внимание на характеристике взглядов Достоевского, сложившихся у него после возвращения из Сибири. А как происходил процесс пересмотра прежних верований, какие факты и события оказали влияние на изменение мировоззрения писателя, какое место занимает сибирский период творчества во всей литературной деятельности Достоевского — обо всем этом у них говорится лишь мельком или этот вопрос вообще обходится молчанием.

Правда, еще в 20-х и 30-х годах Л. П. Гроссман[1] в своих исследованиях говорил о жизни Достоевского в Сибири и, в частности, утверждал, что уже на каторге у писателя сложились реакционные взгляды, что он вышел оттуда ярым приверженцем монархии и православной церкви.

За последнее время со статьями о сибирском периоде жизни Достоевского выступил В. Кирпотин[2], который говорит, что реакционное мировоззрение сложилось у писателя позднее, когда он жил в Семипалатинске. И это, нам кажется, более близко к истине. На наш взгляд, реакционные взгляды Достоевского окончательно оформились в самом начале 60-х годов, после его приезда в Петербург. Но несомненно, что в основе своей они сло-

жились в Сибири. В столице они только приняли более законченную, завершенную форму, хотя о целостной, определенной системе взглядов Достоевского даже в самый разгар его борьбы с революционерами-демократами говорить не приходится, так как в ней всегда было много противоречивого, непоследовательного.

О сибирском периоде жизни Достоевского сохранилось довольно много всякого рода воспоминаний, заметок, зарисовок. Иные из них, такие, как «Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—56 гг.» А. Е. Врангеля[3] или «Достоевский в Семипалатинске» А. Скандина[4] и некоторые другие представляют несомненный интерес, но в большинстве своем они ничего, кроме малозначимых, а подчас просто неверных фактов, не содержат. К тому же, все эти материалы практически широкому кругу читателей недоступны, так как напечатаны преимущественно в дореволюционных газетах и журналах. Малодоступна и сибирская переписка Достоевского, опубликованная в конце 20-х годов и с тех пор не переиздававшаяся.

О жизни Достоевского в ссылке рассказал и писатель М. Никитин в своей повести «Здесь жил Достоевский» («Советский писатель», 1956). Эта книга содержит в себе много интересных сведений, относящихся к первым месяцам жизни писателя в ссылке. Однако утверждение автора о том, что Достоевский и после каторги остался убежденным социалистом и сторонником идей Белинского, является, несомненно, ошибочным.

Автор настоящего очерка поставил своей задачей более подробно осветить сибирский период жизни и литературной деятельности Ф. М. Достоевского, проследить развитие его взглядов и охарактеризовать произведения, написанные им в Сибири.

«Достоевский... подвергнутый мукам каторги и поселения, сломился, или, вернее, согнулся. В колоссальной внутренней работе он, сохранив свою ненависть по отношению к духу буржуазному, раздул в себе также ненависть к духу революционному».

А. Луначарский

«Приезжайте же. Поговорим о старом, когда было так хорошо, о Сибири, которая мне теперь милее стала, когда я покинул ее...»

Ф. М Достоевский —
А. Е. Врангелю

Глава I

„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК“

> «Мы, Петрашевцы... выслушали наш приговор без малейшего раскаяния».
>
> Ф. М. Достоевский
> «Дневник писателя»



РАННИМ декабрьским утром 1849 года в Петербурге на Семеновской площади происходило необычное движение. Скакали всадники, торопливо сновали люди в голубых жандармских мундирах, слышались отрывистые слова команды; чеканя шаг, проходили колонны войск.

Вскоре площадь со всех сторон оказалась окруженной ровными шеренгами солдат. В центре ее возвышалось невысокое квадратное деревянное сооружение, нечто вроде помоста, обтянутое черным крепом. Несколько в стороне, рядом с кучами свежевырытой земли, торчали три деревянных столба.

Утро в тот день выдалось удивительно тихое. Лишь движение на площади нарушало безмятежный покой, царивший вокруг. Ночные сумерки только еще рассеивались, и первые лучи солнца едва пробивались сквозь облака, а на земляном валу, видневшемся невдалеке, в окнах домов и на балконах теснились люди. То тут, то там мелькали студенческие фуражки, форменные шинели и кокарды чиновников, картузы лабазников, женские платки и модные дамские шляпки. Толпа глухо шумела. Все чего-то ждали, напряженно вглядывались в улицу, ведущую к Петропавловской крепости.

Наконец в предутренней мгле показалась быстро приближающаяся темная процессия. Впереди ее скакал взвод конных жандармов, за ним ехал целый поезд двухместных экипажей, окруженных со всех сторон всадниками с обнаженными саблями в руках. Замыкал это шествие еще один конный отряд. Притихшая было толпа снова встрепенулась. Сдержанный гул прокатился по всей площади.

Кареты остановились. Из них по одному стали выводить людей с бледными, осунувшимися лицами, одетых в легкое летнее платье. Судя по всему, они хорошо были знакомы друг с другом. Послышались приветствия, радостные возгласы. Люди обменивались рукопожатиями, обнимались.

Это были участники известного в Петербурге кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, или, как их называли, петрашевцы, и сегодня здесь, на площади, им должны были объявить приговор за совершенные ими «злодеяния».

* * *

В 1845 году на квартире служащего Министерства иностранных дел М. В. Буташевича-Петрашевского по

пятницам стали собираться начинающие писатели, студенты, чиновники, офицеры. Это была преимущественно молодежь, увлекающаяся, горящая ненавистью ко всякого рода несправедливостям, злоупотреблениям и произволу. Хозяин квартиры был человеком широко образованным. С ним интересно было поговорить, поспорить. Смелость его суждений, убедительность аргументов в защиту мысли о необходимости уничтожения феодально-крепостнических порядков — все это привлекало к нему молодые сердца. В доме Петрашевского была большая библиотека, которую хозяин целиком предоставил в распоряжение своих друзей и товарищей. Почетное место среди его книг занимали сочинения западноевропейских социалистов-утопистов, философов-материалистов и ранние произведения Маркса и Энгельса.

На своих собраниях участники «пятниц» Петрашевского делились мыслями о прочитанном, обсуждали доклады и выступления по самым различным политическим, философским и социально-экономическим вопросам, спорили об учениях Фурье и Сен-Симона, о путях изменения общественного строя России.

Возникновение кружка петрашевцев было теснейшим образом связано с общественной обстановкой, сложившейся в России к середине 40-х годов прошлого столетия. В эти годы особенно остро начал сказываться кризис всей феодально-крепостнической системы.

Усиливалось недовольство крестьян. Все чаще и чаще в народе звучал протест против дикого произвола помещиков-крепостников.

Рост освободительного движения в стране не мог не сказаться и на развитии прогрессивной общественной мысли. Это было время непрерывных творческих исканий в области философии, социально-политических и естественных наук. В. И. Ленин в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, сле-

дя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области»[5]. Поисками правильной революционной теории занимались и петрашевцы.

На своих собраниях они обсуждали вопросы об уничтожении крепостного права, о свободе печати, о форме суда, а наиболее активные из них вели разговоры об организации тайного общества и высказывали стремление перейти к непосредственной революционной деятельности. Но в целом кружок Петрашевского определенной политической программы не имел. В своих рядах он объединял людей с различными взглядами. Там были представители передового лагеря, последователи революционно-демократических идей Герцена и Белинского, но были среди них и сторонники постепенных реформ, а также люди без определенных взглядов, приходившие на заседания ради любопытства. Среди петрашевцев было довольно много писателей и поэтов, таких, как Плещеев, Дуров, Пальм. Членом кружка был и уже известный в 40-е годы замечательный русский писатель Федор Михайлович Достоевский, чье имя спустя двадцать лет стало известно всему миру.

Пожалуй, трудно найти в русской литературе писателя, чей творческий путь начинался бы столь блистательно. Первый роман Достоевского «Бедные люди» сразу выдвинул его в число лучших русских писателей того времени.

Он выступил в литературе как писатель демократического лагеря, как писатель-гуманист, произведения которого были направлены в защиту «маленького человека», в защиту всех униженных и угнетенных. Уже в первом романе писателя наметились основные черты его творческого метода, в котором центральное место занимает глубокий анализ чувств и переживаний героев, стремление объяснить их страдания и забитость несправедливым устройством мира.

Живейшее участие в судьбе молодого писателя принял великий русский критик В. Г. Белинский, который увидел в Достоевском продолжателя реалистических традиций Гоголя. Он ввел его в кружок пере-

довых русских литераторов, во главе которого стоял сам, и стал настойчиво обращать писателя в свою веру. Много лет спустя, вспоминая это время, Достоевский писал: «Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду*... грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским»[6]. А в другом месте утверждал: «Я страстно принял тогда все учения его»[7]. А это значило, что он стал сторонником социализма, сторонником коренных социальных преобразований.

Белинский воспитывал в своих единомышленниках непримиримую ненависть к крепостному праву, ко всему общественному укладу самодержавной России. Однако далеко не все в учении великого критика Достоевский принимал безоговорочно. Он никогда не мог до конца примириться с атеизмом Белинского, так как был человеком религиозным. Расхождение с Белинским и его кружком еще больше усилилось после выхода в свет новой повести писателя «Двойник», которая была принята великим критиком очень сдержанно. А следующие произведения Достоевского «Господин Прохарчин» и «Хозяйка» были встречены им с откровенным разочарованием. Белинский увидел в них отход молодого писателя от реализма, от идей демократического гуманизма. В этих повестях уже проскальзывали мысли о якобы извечно существующем разладе человека с самим собой, о бессмысленности и бесперспективности борьбы с ужасами окружающей жизни и т. д. Подобные взгляды не проводились Достоевским в то время так открыто и последовательно, как это было в более поздний период его литературной деятельности. В правильности подобного рода суждений он не был еще уверен и даже готов был в известной мере признать ошибочность этих своих взглядов. Но несомненно, что корни эгоцентризма героев будущих произведений Достоевского, отрицание ими активных форм борьбы с социальным злом надо искать в раннем творчестве писателя.

В начале 1847 года Достоевский порвал отношения с Белинским и его окружением. Но связи писателя с передовым общественным движением того време-

ни на этом не прекратились. Еще в марте 1846 года он знакомится с Петрашевским, а спустя год становится постоянным посетителем его «пятниц». Вскоре Достоевский сблизился с наиболее радикальным крылом кружка петрашевцев, которое возглавлялось Н. А. Спешневым и С. Ф. Дуровым. Он поддерживал их стремления создать тайное революционное общество, вместе с ними предпринял попытку организовать подпольную типографию.

На собраниях у Петрашевского Достоевский читал знаменитое письмо Белинского к Гоголю, вольнолюбивые стихи Пушкина, принимал самое активное участие в обсуждении вопросов об общественном переустройстве России. Он был сторонником немедленной отмены крепостного права, выступал с критикой внутренней и внешней политики Николая I, ратовал за освобождение русской литературы от цензурного гнета. Но взгляды молодого Достоевского были во многом противоречивы (это, как уже отмечалось, сказалось и на некоторых его художественных произведениях). Соглашаясь с Петрашевским в вопросе о необходимости социальных преобразований в стране, он вместе с тем не считал, что для этого нужна именно революция. Довольно критически относился Достоевский и к проектам Петрашевского об устройстве будущего коммунистического общества. По-прежнему он, в отличие от многих петрашевцев, оставался верен своим религиозным убеждениям.

Однако, несмотря на это, участие молодого писателя в кружках Белинского и Петрашевского свидетельствовало о его стремлении найти путь искоренения всех общественных зол, о желании быть полезным своей несчастной родине и своему многострадальному народу.

* * *

Царь Николай I, смертельно боявшийся любого проявления свободолюбивого духа, через своих шпионов внимательно следил за деятельностью кружка петрашевцев. Он почувствовал в них возрождение ненавистного ему духа дворянских революционеров, героев 14 декабря 1825 года.

В ночь с 22 на 23 апреля 1849 года по личному приказанию Николая I жандармы арестовали большинство посетителей «пятниц» Петрашевского и среди них Федора Михайловича Достоевского.

Сохранился интересный рассказ самого писателя об этой страшной ночи, который он собственноручно записал в альбом дочери своего приятеля А. Милюкова после возвращения из ссылки: «Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привставая с кровати.

— По повелению...

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля...

— Эге? Да это вот что! — подумал я. — Позвольте же мне... — начал было я.

— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатичным голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться: немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предупредительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я.

— Гм... Это, однако же, надо исследовать... — пробормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там много было ходьбы и народу. Я встретил много знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал... беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.

23-го апреля был действительно Юрьев день.

Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем г. Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать...»[8]

Петрашевцы недолго находились в неведении. Тридцать четыре члена кружка Петрашевского были брошены в казематы Петропавловской крепости, а 15 из них, и в том числе Достоевский, — в холодные и сырые камеры Алексеевского равелина, самого страшного застенка царской России.

*

Пребывание в крепости Достоевский переносил очень тяжело. Тюремная обстановка угнетала, зловещая тишина, царившая в каземате, обволакивала сознание, мешала думать, сосредоточиться на чем-нибудь одном, определенном. Дни казались бесконечны-

ми. Но и ночь не приносила успокоения. Являлись какие-то видения, в разгоряченном мозгу вырисовывались странные фантастические образы. Только невероятным усилием воли писатель заставлял себя уйти из этого призрачного мира, старался обдумать и взвесить: что же произошло, что будет дальше?

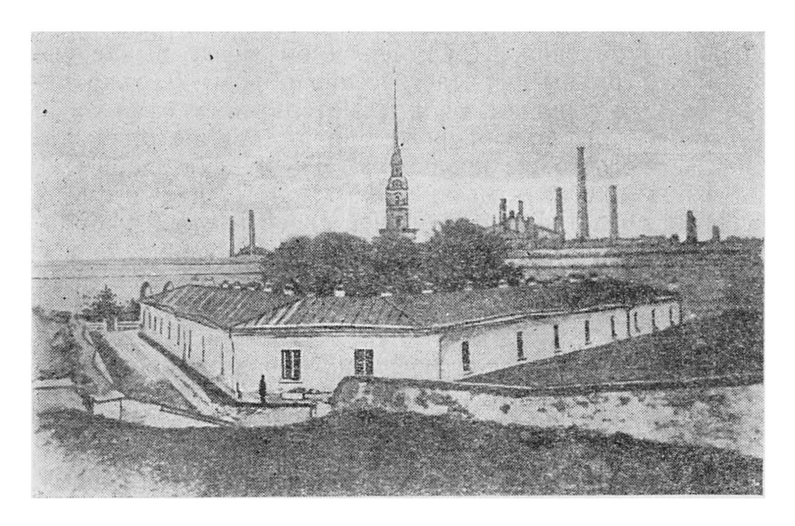
«Вот уже пять месяцев, без малого, как я живу своими средствами, т. е. одной своей головой и больше ничего. Покамест еще машина не развинтилась и действует. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать думу — тяжело! Я весь как будто под воздушным насосом, из-под которого воздух вытягивают. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль, все, решительно все, и несмотря на то, эта работа с каждым днем увеличивается... Впрочем, я ей рад»[9], — писал Достоевский из крепости своему брату Михаилу Михайловичу.

Но ни ужасы одиночного заключения, ни бесчисленные болезни, обрушившиеся на и без того слабый организм писателя, — ничто не сломило его духа. «...Вижу, — говорил он брату, — что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь»[10].

Оказавшись насильно вырванным из жизни, Достоевский не желает с этим мириться. Он самым живейшим образом интересуется всем, что происходит на свободе, умоляет брата присылать ему больше книг и особенно журнал «Отечественные записки», где в течение последних лет был активным сотрудником. «Я... жду их как эпохи, как соскучившийся помещик в провинции»[11]. Своими мыслями о прочитанном Достоевский делится с братом: «Перечитывал присланные тобою книги. Особенно благодарю за Шекспира. Как это ты догадался! В «Отечественных записк[ах]» английский роман чрезвычайно хорош. Но комедия Тургенева непозволительно плоха...»[12].

Не оставляет писатель и своих литературных занятий. «Я времени даром не потерял, — сообщает он, — выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь...»[13]

Романа Достоевский в крепости не написал. Но



Алексеевский равелин Петропавловской крепости

упорный труд не пропал даром — результатом его явилась повесть «Маленький герой», произведение необычайно своеобразное. В нем мы не увидим ни горя, ни страданий, неизбежных спутников большинства произведений Достоевского. Вся повесть пронизана радостью, светлой верой в человека. Это произведение лишний раз говорило о том, что и в неволе писатель продолжал жить, творить, верить.

А между тем следствие по делу петрашевцев шло полным ходом. Один за другим перед следственной комиссией проходили «государственные преступники». По-разному вели они себя на допросах. Одни униженно каялись, отказывались от своих прежних убеждений, стремились свалить вину на товарищей, другие, наоборот, являли собой образец мужества и стойкости. Особенно много хлопот комиссии доставил Достоевский, который отрицал все предъявленные ему обвинения. Он утверждал, что никогда не разделял взглядов Петрашевского на социализм и революцию, а интересовался этими вопросами лишь теоретически. О других петрашевцах он вообще отказывался да-

вать какие-либо показания, ссылаясь на свою неосведомленность. Ничего не удалось от него узнать и о существовании революционного кружка Спешнева и Дурова.

Однако это не помешало следственной комиссии признать Достоевского «одним из важнейших» злоумышленников и потребовать вынесения ему сурового приговора «за участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства»[14]. Так официально было сформулировано обвинение. Причем следственная комиссия и ее председатель генерал Набоков были убеждены, что перед ними находится опаснейший революционер и что им многое осталось неизвестно о его деятельности.

Сам Достоевский спустя несколько лет в письме к Э. И. Тотлебену с гордостью вспоминал: «...я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других... Я поверил себе, я не сознавался во всем и за это был наказан строже»[15].

Военный суд признал Достоевского вместе с двадцатью другими петрашевцами виновными «в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка»[16] и приговорил их к расстрелу.

Опасаясь общественного резонанса, который могла вызвать казнь петрашевцев, Николай I отменил смертный приговор и заменил его различными сроками каторжных работ и солдатчиной. Но прежде чем объявить петрашевцам настоящий приговор, царь распорядился произвести над ними весь обряд подготовки и проведения смертной казни, а помилование зачитать лишь в самый последний момент. До этого все должно было сохраниться под строжайшим секретом. Обо всех подробностях готовящегося гнусного спектакля знали лишь несколько высших сановников.

И вот заворочался огромный бюрократический механизм военного министерства. Из одного департамента в другой посылались всевозможные циркуляры, приказы, распоряжения. В «секретных» и «весьма секретных» документах предусматривались все мельчайшие подробности предстоящей церемонии. Здесь были указания о размерах эшафота, об одежде арестованных, о маршруте следования петрашевцев из крепости на Семеновскую площадь, о том, как должен происходить обряд преломления шпаг над головами осужденных и т. д. Говорилось даже о темпе барабанной дроби. Причем цинизм Николая I дошел до того, что все издержки, связанные с этой отвратительной комедией, он приказал взыскать с Петрашевского и Спешнева.

*

Наступило 22 декабря. На улице было совсем темно, когда Достоевского и его друзей подняли с постелей и заставили одеться в платье, отобранное у них при заключении в крепость. Затем их поодиночке вывели во двор тюрьмы и усадили в закрытые кареты. Рядом с каждым арестованным поместился жандарм. Лошади с места взяли рысью. Позади остались крепостные ворота, колеса кареты простучали по настилу моста и, наконец, в предутренней мгле мимо замелькали силуэты еще спящих домов.

Всю дорогу Достоевский терялся в догадках: куда везут их? Почему все: и караульные офицеры, и конвойные жандармы — так подавленно молчали? Он попробовал заговорить с рядом сидевшим жандармом и спросил его о цели их путешествия. «Не велено сказывать», — последовал угрюмый ответ.

Наконец карета остановилась. Недоумевающие и растерянные, выходили петрашевцы из карет, тщетно пытаясь понять, что здесь происходит. Войска, толпы народа, какой-то мрачный помост, столбы, а рядом глубокие ямы, похожие на могилы, — все это настораживало, и невольная тревога закрадывалась в сердце. Даже радость встречи для многих из них не могла рассеять чувство подавленности и ожидания чего-то страшного.

В морозном воздухе резко прозвучали отрывистые слова команды: «Становись!» Откуда-то вынырнул чиновник со списком в руках и начал выкликать имена арестованных. Окончив перекличку, он отошел в сторону, и его место занял священник в черном одеянии и с крестом в руках.

— Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела,— обратился он к Достоевскому и его товарищам. —Последуйте за мной!

Петрашевцы двинулись вслед за ним. Он повел их вокруг эшафота, мимо застывших в карре войск. Медленно брели они по глубокому рыхлому снегу, изредка обмениваясь отрывистыми замечаниями.

— Зачем нас сюда привезли?

— Приговор, наверное, будут читать!

— А что это за столбы? Для чего?

— Не знаю. Посмотрим.

Но вот арестованные по одному в сопровождении жандармов поднялись по крутой лестнице на площадку помоста и построились. Снова появился чиновник. Опять проверка! Когда же это кончится?!

С момента прибытия на площадь Достоевского не оставляло чувство приподнятости и нервного возбуждения. Он чувствовал, что должно случиться нечто страшное, но оно не пугало его. Ему припомнилось произведение В. Гюго «Последний день осужденного», и он с воодушевлением стал рассказывать о нем своим товарищам. Потом, подойдя к Спешневу, Федор Михайлович восторженно произнес по-французски: «Мы будем вместе с Христом». «Горстью праха»,— невесело усмехнулся тот в ответ.

Раздалась команда: «На караул!»

Тишину морозного утра разорвала тревожная дробь барабана. В наступившей вслед за тем тишине кто-то как будто выдохнул слова новой команды: «Шапки долой!»

Стоявшие на эшафоте не сразу поняли, в чем дело, и никто не пошевелился. Но снизу снова раздались голоса: «Снять шапки! Конфирмацию читать будут!» Кое-кто нерешительно стал снимать шапки. Замешкавшимся помогали стоявшие позади арестованных жан-

дармы. Перед петрашевцами стал аудитор и, торопясь, проглатывая слова, начал читать приговор.

Чтение продолжалось почти полчаса. Одетые по-летнему осужденные дрожали от холода.

Напрасно пытался Достоевский вслушаться в то, что читал чиновник. Мысли его все время куда-то убегали. Он вдруг вспомнил милое и близкое лицо брата, его детей, подумал о том, что вот, наверное, они сейчас садятся пить утренний кофе, а он почему-то здесь, на этой огромной, темной от войск и толпы площади.

«Федор Достоевский», — донеслось до него как будто издалека. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться и, как о чем-то совершенно постороннем, не имеющем к нему никакого отношения, услышал: «Полевой суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему!»

Петрашевцы стояли потрясенные. Они ожидали всего, что угодно, только не этого.

«Неужели это последние наши минуты? — мгновенно пронеслось у каждого. — Неужели мы никогда больше не увидим солнца, ни этого ослепительного белого снега, ни этого яркого, бездонного, синего неба!»

— Не может быть, чтобы нас казнили! — невольно вырвалось у Достоевского.

Стоявший рядом Плещеев молча указал ему на видневшуюся неподалеку от эшафота телегу, на которой закрытое рогожами лежало что-то, напоминающее гробы (как потом оказалось, это была одежда, в которую должны были переодеться перед отправкой в Сибирь петрашевцы).

Снова ударила барабанная дробь и, не умолкая, как бы застыла над притихшей площадью.

Приговоренным подали белые балахоны с длинными рукавами и капюшонами. Жандармы стали одевать их в это предсмертное одеяние. На эшафот опять поднялся священник и, благословя осужденных, предложил им исповедаться. Но лишь один подошел к нему. Остальные продолжали оставаться в нерешительности. Тогда священник сам обошел всех и каж-

дому дал поцеловать крест. Под непрекращающийся грохот барабанов петрашевцев поставили на колени, и два рослых палача, одетых в яркие цветные кафтаны, совершили над ними церемонию преломления шпаг. К стоявшим с краю Петрашевскому, Григорьеву и Момбелли подошли жандармы, под руки свели их на землю и, подведя к столбам, стали привязывать.

Видеть своих друзей, которые должны сейчас пасть мертвыми, понимать и чувствовать, что через несколько мгновений тебя ожидает та же участь, было ужасно.

Наступила мертвая тишина. Сотни мыслей, обгоняя одна другую, промелькнули в сознании Достоевского. Он жадно вдыхал морозный воздух и с удивлением оглядывался вокруг, стараясь запомнить все, что его окружало и что, как ему казалось, он видел в последний раз. Ведь жить оставалось несколько мгновений: следующая очередь идти к месту казни была его.

Спустя много лет в романе «Идиот» Достоевский подробно описал все то, что он пережил в эти мгновения. Федор Михайлович знал, что жить ему осталось не более пяти минут, но «эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть... Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что каждому из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолочен-

ною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но... ничего не было для него в это время тяжеле, как беспрерывная мысль: «Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»[17]

Взгляд писателя невольно упал на своих несчастных товарищей, стоявших под дулами ружей. И вдруг он увидел, что их отвязывают от столбов и опять ведут на эшафот. Из подъехавшей кареты вышел флигель-адъютант с бумагой в руках, которую тут же стал читать осужденным. В ней извещалось о том, что царь дарует всем жизнь и назначает каждому особое наказание. Согласно новому приговору, Достоевский был осужден на четыре года каторжных работ с последующим определением на военную службу рядовым.

С петрашевцев сняли белые саваны и выдали новую одежду: валенки, грязные овчинные тулупы и шапки. На эшафот поднялись кузнецы и тут же стали заковывать Петрашевского в кандалы. С трудом передвигая ноги, на которых повис восьмифунтовый железный груз, он обошел весь строй и с каждым попрощался. Потом сошел с помоста, сел в сани и прямо с площади в сопровождении фельдъегеря и жандарма был отправлен в Сибирь. Остальным сообщили, что они выедут позднее, а сейчас должны возвратиться в крепость.

Вся эта чудовищная комедия, разыгравшаяся перед глазами петрашевцев, глубоко потрясла и возмутила их. Один из них, Ипполит Дебу, спускаясь с эшафота, сказал: «Лучше бы расстреляли!»

Трудно передать словами, что пережили и перечувствовали петрашевцы за это время, показавшееся им вечностью. И можно только удивляться, с каким му-



Обряд казни над петрашевцами

жеством и стойкостью перенес все это Достоевский, человек болезненный и очень впечатлительный. Но никогда: ни на площади, перед лицом смерти, ни на каторге, ни позднее, на склоне жизни, он не раскаивался в свободолюбивых увлечениях своей молодости. В «Дневнике писателя» за 1873 год он говорил: «Мы, Петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, де-

лом недоразвитиков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих — (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!»[18]

Вернувшись в крепость, еще не оправившись от недавнего потрясения, Достоевский пишет брату письмо, проникнутое бодростью и надеждой на лучшее будущее: «Брат! — восклицал он, — я не уныл и не упал духом... Знай... что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы, я буду рядовой, — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму»[19]. Его тревожит только один вопрос — когда он сумеет вернуться к литературной деятельности, когда снова получит возможность творить? «Неужели никогда я не возьму пера в руки?.. — с горечью спрашивал Федор Михайлович. — Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках!»[20]

Но писатель не хочет верить, что его творческий путь уже закончился. Он не хочет и не желает с этим примириться. Достоевский отлично представлял себе, что ожидает его на каторге, понимал, что предстоящие годы будут вычеркнуты из его жизни, и он все-таки ободрял себя мечтой о том, что сумеет пережить

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПЕТРАШЕВЦЕВ.

Ф. М. Достоевский.

Имена преступников.	Главные виды преступлений, судом обнаруженные.	Заключение Генерал-аудиториата.	Высочайшая конфирмация.
10. Отставного инженер-поручика Федора ДОСТОЕВСКОГО (27 л.)	За участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства.	Подвергнуть смертной казни расстрелянием.	Лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 4 года и потом определить рядовым.

Фотокопия приговора Достоевскому

это время и в конце концов вернется в литературу «Я думаю, — с надеждой говорил Федор Михайлович, — через 4 года будет возможность»[21].

*

Долгие месяцы одиночного заключения пришли, наконец, к концу. Что ожидало Достоевского в будущем? Как встретят его на каторге? Как он будет жить там? Все это не страшило писателя. «Подле меня будут люди, — говорил он, — и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее»[22].

Отправляясь на каторгу, писатель во многом был уже другим человеком. Девять месяцев одиночного заключения не прошли даром. Ночью, когда бессонница не давала ни на минуту сомкнуть глаза, в течение долгих, однообразных, похожих друг на друга, как близнецы, дней многое передумал Федор Михайлович. Ему вдруг представилось, что все это время он жил не так,

как нужно, что его жизнь была во многом выдуманной, что настоящая жизнь должна быть другой, чище и проще. Писатель еще не делал никаких выводов, но прежние надежды и верования кажутся ему несбыточными, и он решает порвать с ними, хотя это было больно и тяжело. «Надежды наши... — пишет он брату, вернувшись в свою камеру с Семеновской площади, — я в это мгновение вырываю из сердца моего с кровью и хороню их»[23].

Достоевский ни в чем не раскаивался, свой путь исканий он считал вполне закономерным, но с прошлым решил порвать и собирался начать жизнь сначала, по-новому. Как? Этого он и сам не знал.

Находясь в крепости, писатель все чаще и чаще обращает свой взор к религии, к идеям христианского учения. Он хочет найти ответы на тревожившие его вопросы в книгах религиозного содержания. «Я здесь читал немного, — сообщал он брату, — два путешествия к св[ятым] местам и сочинения св. Дмитрия Ростовского»[24]. Спустя некоторое время писатель обращается к брату с просьбой прислать библию.

В письмах Достоевского начинают звучать ноты христианского всепрощения. «Если кто обо мне дурно помнит, — пишет он брату, — и если я с кем поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление — скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних...»[25].

Таким образом, процесс пересмотра прежних верований и убеждений начался у Достоевского еще в Петербурге. Процесс этот протекал у него мучительно и тяжело... Ведь его увлечение идеями социализма было глубоко искренним. Они ему «казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества»[26]. Правда, эти увлечения оказались неглубокими, но они оставили значительный след в жизни писателя и в его духовном развитии.

Встретившись с такими яркими личностями, как Белинский и Петрашевский, чье влияние на окружаю-

щих их людей было громадным, Достоевский с его впечатлительной и увлекающейся натурой не мог не отозваться на их горячую проповедь идей социализма, не мог не проникнуться уважением к их мыслям и убеждениям. Его привлекало в учении социализма стремление сделать жизнь всех людей счастливой, радостной, без горя и страданий. Но пути достижения этого были для самого Достоевского неясны и неопределенны. Он не обладал последовательным революционным мышлением и не был уверен в могучей преобразующей силе революции. Он был скорее склонен верить в отвлеченный «христианский социализм», нежели в социализм научный. Все это привело в конце концов к тому, что писатель усомнился в правильности социалистических идеалов, пропагандировавшихся Белинским и Петрашевским.

Однако новые взгляды Достоевского в это время еще не сложились. То новое, что пробудилось в его душе, в сущности, не было новым; оно, по всей вероятности, было всегда — и до знакомства с Белинским и Петрашевским, было и потом, но только таилось и пряталось где-то в глубине души. Ведь еще до ареста Достоевский начал сомневаться в силе и ценности человеческого разума, высказывал мысли об извечной ущербности и порочности человеческой личности. Но теперь он свято верил, что, «переменяя жизнь, перера родится в новую форму»[27].

«Я перерожусь к лучшему, — горячо восклицает он. — Вот вся надежда моя, все утешение мое!»[28]

Что это за «лучшее», что за «новая форма», Достоевский и сам себе четко не представлял. Но начало внутреннего перерождения, пересмотр прежних взглядов и убеждений, несомненно, начался у него еще в Петербурге, перед отправлением на каторгу.

* *

Осужденных петрашевцев отправляли в Сибирь ежедневно партиями в два-три человека. Достоевский вместе со своими товарищами Дуровым и Ястржембским должны были тронуться в путь вечером 24 де-

кабря. За несколько часов до отъезда брат Достоевского Михаил Михайлович получил разрешение на свидание. При прощании братьев присутствовал литератор А. Милюков, довольно близко знавший Достоевского. В своих воспоминаниях он рассказывал: «Нас ввели в какую-то большую комнату, в нижнем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер, она освещалась одною лампою. Мы ждали довольно долго... Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки... Оба уже одеты в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках. Крепостной офицер скромно поместился на стуле недалеко от входа и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях... Смотря на прощание братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь, на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.

— Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня... Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, я даже не сомневаюсь, что увидимся... А вы пишите, когда обживусь — книг присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет... А выйду из каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, — будет о чем писать...»[29]

Братья в последний раз обнялись и расстались на долгие годы.

Свидание окончилось. Вошел караульный офицер, и Достоевский вновь был водворен в камеру.

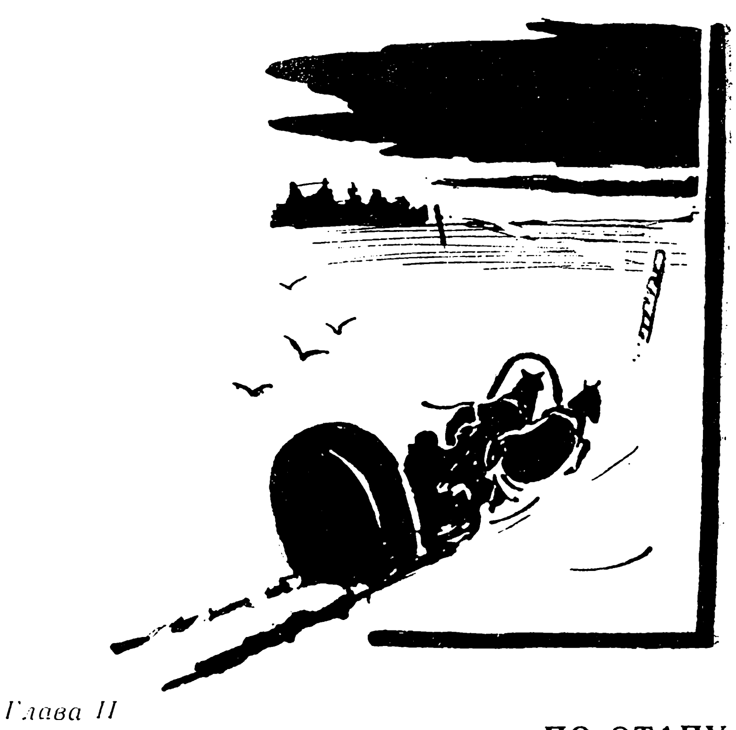
В полночь Достоевского, Дурова и Ястржембского вывели на скудно освещенный тюремный двор, где их

уже ждали тройки лошадей, запряженные в открытые сани. Около них маячили фигуры конвойных. С трудом уселись они каждый в отдельные сани. Рядом поместились жандармы. По команде фельдъегеря ямщики тронули лошадей.

За крепостными воротами их поджидали Михаил Михайлович и Милюков.

— Прощайте, — крикнули они путникам, отправившимся в неведомую даль.

— До свидания, — донеслось из саней.



Глава II

ПО ЭТАПУ

«Впереди Сибирь и таинственная судьба в ней. Назади все прошедшее...»

Ф. М. Достоевский — М. М. Достоевскому.

БЫЛО уже поздно, но город еще не спал. И хотя на пустынных улицах лишь кое-где можно было увидеть одинокие фигурки запоздавших пешеходов, во всем облике столицы чувствовалось что-то торжественное и величавое. За опущенными шторами ярко освещенных

окон больших зданий угадывались очертания нарядных елок, мелькали силуэты оживленно жестикулирующих людей, раздавались приглушенные звуки веселой музыки. Петербург праздновал рождество.

Санный поезд с осужденными петрашевцами во весь опор мчался по залитым тысячами огней улицам, как будто стремясь поскорее выбраться из этого царства радости и веселья.

С грустью смотрел по сторонам Достоевский. Мимо проносились до боли знакомые дома, проспекты, площади. Сколько раз он видел их, но никогда ему и в голову не приходило, что со всем этим когда-нибудь придется расстаться! Как часто часами, будто зачарованный, глядел он и не мог налюбоваться непередаваемой прелестью петербургских пейзажей, строгими линиями зданий, терявшихся вдали, арками мостов, повисших над водой. Да, он любил этот город. С ним были связаны самые дорогие воспоминания. Здесь жили близкие ему люди, здесь впервые он испытал радость и муки творчества, здесь, на этих улицах и площадях, рождалось столько возвышенных мыслей о прекрасном будущем человечества. Достоевский невольно зажмурился от нахлынувших воспоминаний. Нет, жизни вне Петербурга он пока еще не представлял себе. А перед его взором возникали и снова исчезали все новые и новые улицы, перекрестки, площади.

«Когда я увижу вас снова? — с тоской думал Достоевский, мысленно прощаясь с ними. — И увижу ли? А пока прощайте! Прощайте, может быть, навсегда!»

Сани вырвались на Литейный проспект. Еще минута, и они поравнялись со сверкающим множеством огней домом Краевского. Достоевский вспомнил, как при прощании брат говорил, что сюда сегодня на елку отправилась Эмилия Федоровна с детьми.

«И вот у этого дома мне стало жестоко грустно, — вспоминал он позднее. — Я как будто простился с детенками. Жаль их мне было...»[30]

Федор Михайлович на минуту представил себе большую залу, детей, которые весело и беззаботно кружились вокруг украшенной елки. Ему вдруг пока-

залось, что он даже слышит топот их маленьких ножек и радостный смех. Но видение вспыхнуло и пропало. Лишь сердце вновь болезненно сжалось и затосковало.

Проехали центр города. Все вокруг как-то сразу потускнело и потеряло свою торжественность. Потянулись скудно освещенные улицы окраин, унылые и мрачные.

Санный поезд остановился. Застава. Медленно поднялся полосатый шлагбаум, пропуская сани, и снова опустился, как бы закрывая дорогу назад, к прошлому. Почувствовав свободу, кони рванули и понеслись, оставляя позади город. Вскоре от него осталась лишь цепочка огней, тускло мерцавших в темноте. Потом пропала и она. Остались лишь ночь да пустынная дорога.

Под однообразный скрип полозьев Достоевский незаметно задремал, а когда проснулся, вокруг уже прояснилось. Наступило пасмурное зимнее утро. Впереди, в морозном воздухе, отчетливо вырисовывались зубчатые стены старой крепостной стены, приземистые домишки и золоченые маковки церквей. Сани въезжали в какой-то небольшой городишко. У здания, в котором нетрудно было угадать трактир, лошади остановились.

— Шлиссельбург, — сказал жандарм, сидевший рядом с писателем, с трудом поднимаясь на ноги.

Достоевский хотел последовать его примеру, но не смог даже пошевелиться. От неудобной позы и холода ноги застыли и отказались служить. Только с помощью жандармов Федору Михайловичу удалось выбраться из саней.

В жарко натопленном трактире замерзшим и проголодавшимся путникам подали горячий чай и хлеб. Мало-помалу Достоевский согрелся. На душе стало спокойнее. Ему стало даже весело глядеть на своих товарищей, которые налегли на чай и хлеб, как будто их целую неделю не кормили. Да он и сам не отставал от них. Дуров о чем-то все время говорил, что-то стремился доказать, но Достоевский не прислушивался к его словам. Он пребывал в состоянии какого-то нравственного успокоения. Ему вдруг показалось, что они

уже давно так путешествуют, что там, куда они едут, их ожидает что-то новое, но совсем не страшное. И казались смешными страхи Ястржембского, который не мог думать о будущем без ужаса и содрогания.

Окончив скромную трапезу, путники вполголоса переговаривались друг с другом и внимательно присматривались к старику-фельдъегерю, который их сопровождал. Что он за человек? Как вести себя при нем? Ведь путь предстоял немалый и со многим еще можно столкнуться в дороге!

Наружность старика не располагала к себе. Он хмуро поглядывал на арестованных и не говорил ни слова. Но оказалось, что за внешней суровостью скрывалось большое сердце. Кузьма Прокофьич Прокофьев, как звали фельдъегеря, был человеком добрым и отзывчивым. За свою долгую жизнь он немало видел горя и страданий и поэтому с искренним сочувствием отнесся к осужденным петрашевцам. За время пути они не раз могли видеть, как он заботился о них, готовя ночлег, доставая продукты, старался иной раз, когда это было возможно, несколько дольше задержаться на какой-нибудь станции, чтобы дать возможность путникам хотя бы немного отогреться и прийти в себя.

Согласно предписанию, петрашевцев везли не по главной магистрали, а какими-то безлюдными дорогами, в объезд больших городов. Ехали почти без остановок. Задерживались только на почтовых станциях, где меняли лошадей. А морозы между тем день ото дня все усиливались. От холода не спасали даже теплые полушубки. За время коротких остановок петрашевцы часто не успевали ни отдохнуть, ни как следует согреться. Спать приходилось чаще всего сидя в кибитке, и это еще больше утомляло и без того усталых путников. Особенно мучали кандалы. Несмотря на то, что Достоевский старался укрыть их, они на морозе быстро холодели и как будто когтями схватывали ноги.

Проехали Петербургскую, Новгородскую и Ярославскую губернии. По пути изредка попадались малонаселенные городишки, убогие деревеньки. Почти в

каждом селении санный поезд с «государственными преступниками» встречали группы крестьян, которые с явным сочувствием глядели на арестованных и бросали недружелюбные взгляды на жандармов. Но на почтовых станциях, где останавливались петрашевцы, Достоевский и его спутники не встречали никакого сострадания. Наоборот, с них там старались за все взять втридорога. И плохо пришлось бы им, если бы не Кузьма Прокофьич, который взял на себя чуть ли не половину их расходов.

Переехали Волгу. Еще один рубеж отделил теперь путников от родных мест. Вокруг, насколько хватал глаз, тянулось необозримое море лесов. Казалось, что нет ему ни конца, ни края. И чем дальше везли Достоевского с товарищами на восток, тем глуше и неприветливее становилось вокруг. Дорога как будто вымерла. Редко-редко угрюмый пейзаж оживлялся видом какой-нибудь одинокой деревушки, да иногда впереди показывалась взмыленная почтовая тройка, которая, как вихрь, проносилась мимо.

Все реже делались остановки. Иной раз приходилось по 10—12 часов не выходить из саней. А морозы все крепчали. «Мы мерзли ужасно, — вспоминал Федор Михайлович. — ...Я промерзал до сердца, и едва мог отогреться потом в теплых комнатах»[31]. Особенно тяжело пришлось путникам однажды ночью на одной из пустынных дорог Пермской губернии, когда температура упала ниже сорока градусов.

Дорога становилась все хуже и хуже. От постоянной тряски ломило спину, поясницу, руки и ноги немели, становились чужими. Каждый толчок кибитки отдавался тупой болью в голове. «Боже мой, когда же кончатся эти мучения?» — с тоской думал Достоевский.

За Кунгуром равнина, по которой вот уже много дней ехали осужденные петрашевцы, стала горбиться невысокими холмами, покрытыми густым лесом. Начинались отроги Уральского хребта. Чем дальше продвигались путники, тем выше становились холмы, постепенно превращаясь в невысокие скалистые гряды. Горы здесь не поражали воображения ни отвесными

терявшимися в заоблачной вышине скалами, ни глубокими ущельями, но они все-таки приятно радовали глаз пышной хвойной растительностью и живописными скальными глыбами, кое-где выступавшими из-под снега.

К сожалению, всем этим «путешественникам» пришлось любоваться очень недолго. Подул ветер. Заиграла вьюга. В воздух поднялись целые тучи снега. Вскоре даже в нескольких шагах трудно стало что-нибудь разглядеть. К тому же быстро надвигались вечерние сумерки. Лошади, увязая в глубоких сугробах, с трудом тянули кибитки. Наконец, они совсем остановились. Пришлось выйти из повозок и ожидать, пока лошади немного отдохнут и ямщики расчистят дорогу. Между тем совсем стемнело. Глаза уже с трудом различали окружающие предметы. Холодный ветер пронизывал до костей. Чтобы окончательно не замерзнуть, путники решили немного пройти пешком. Идти было трудно. Ноги вязли в снегу, ветер едва не сбивал с ног. Впереди среди снежных вихрей чернело что-то массивное, высоко поднимавшееся над дорогой. Подойдя ближе, они увидели каменный обелиск, с одной стороны которого было написано «Европа», с другой — «Азия». Граница двух частей света! Здесь начиналась далекая и таинственная Сибирь.

В глубоком молчании остановились петрашевцы. Каждый думал свою невеселую думу. Достоевскому показалось, что теперь пришло время окончательно проститься с прошлым, что отныне начинается та новая неведомая жизнь, о которой он старался все эти дни не думать... Сибирь! Необъятная, холодная, чужая! Что ожидало его там? Выдержит ли он все то, что уготовила ему судьба? Выживет ли?

Сердце снова, как тисками, сжала тоска. Глаза невольно наполнились слезами.

* *

Только на восемнадцатый день пути петрашевцы подъехали, наконец, к Тобольску. Город поразил путников своей величавой красотой. На крутом обрывис-

том правом берегу Иртыша, как раз напротив устья реки Тобола, виднелась зубчатая стена тобольского кремля. За ней высилось огромное здание губернского совета, рядом с которым высоко вздымался пятиглавый Софийский собор с белоснежной колокольней. Поодаль сверкал золотом куполов Успенский собор.

Всего несколько лет назад Тобольск был главным городом Западной Сибири, ее политическим и экономическим центром. Через него тогда проходил Великий Сибирский путь, велась обширная торговля, осуществлялась связь с самыми отдаленными местами Российской империи. Но в 1839 году управление Западной Сибири было переведено в Омск, и Тобольск постепенно стал превращаться в обычный заштатный город. Тише стало на его улицах, сокращалась торговля, пустели лавки купцов и гостиные дворы. Однообразная жизнь Тобольска теперь нарушалась лишь партиями арестантов, которые, гремя кандалами, зимой и летом непрерывной вереницей тянулись по улицам города, направляясь к «Главному приказу о ссыльных». Со всей России собирали сюда осужденных с тем, чтобы потом разослать их по разным уголкам Сибири, где они должны отбывать наказание. Здесь должен был узнать о своей дальнейшей судьбе и Достоевский.

Кибитки с осужденными петрашевцами остановились перед небольшим грязноватого вида строением. Здесь помещался «Тобольский приказ о ссыльных». О прибывших доложили управляющему, и он приказал отвести их в острог.

Тепло распрощались петрашевцы с Кузьмой Профьичем и в сопровождении стражников пешком отправились к огромному, окруженному высокой каменной оградой одноэтажному зданию тюрьмы, видневшемуся невдалеке.

Пройдя ворота, охранявшиеся часовыми, и большой очищенный от снега двор, петрашевцы через широкую дверь вошли в огромную залу, где перед ними открылась картина, которая до глубины души потрясла их. Там готовилась к отправке очередная партия

арестантов. Толпа, наполнившая помещение, поражала своей пестротой. Здесь можно было встретить стариков и старух, молодых мужчин и женщин, подростков и даже совсем маленьких детей. Вся эта пестрая, кое-как одетая масса людей куда-то двигалась. Все были заняты каким-то делом. Одних заковывали в кандалы, другим брили головы, третьих клеймили, четвертых приковывали к одной цепи, чтобы арестанты дорогой не разбежались. Особенно тягостное впечатление производила сцена клеймения арестантов. Клейма накладывали на правую руку ниже локтя и на лопатку. Они были разные и имели далеко не одинаковое значение. КАТ — означало «каторжный», СК — «ссыльнокаторжный», СБ — «ссыльнобеглый». За каждый очередной побег ставилось новое клеймо.

Воздух кругом, казалось, стонал. Люди плакали, молились, ругались, проклиная свою участь. Это зрелище самым удручающим образом подействовало на Достоевского и его товарищей. Они с ужасом смотрели на эту страшную картину человеческих страданий.

Проведя всю ночь и часть дня на сорокаградусном морозе, петрашевцы, как о чем-то самом желанном, мечтали о тепле и горячем чае. И когда к ним подошел смотритель — невзрачного вида старик с физиономией, напоминающей высушенный гриб, — то первым вопросом, с каким они обратились к нему, был: не дадут ли им самовар? На что он довольно грубо ответил:

—Нет у нас самовара!

Смотритель провел вновь прибывших в темную и грязную канцелярию острога.

— В кандалах? — спросил он резко, не глядя на арестованных.

Получив утвердительный ответ, на ходу бросил: «Обыскать!»

Петрашевцев тщательно обыскали. У них отобрали деньги и другие мелкие вещи. После унизительной процедуры обыска осужденных поместили в маленькую почти темную и к тому же чрезвычайно грязную и холодную камеру. На нарах вместо тюфяков лежало три грязных мешка, набитых сеном. Дверь захлоп-

нулась, и все погрузилось в темноту. Ощупью добрался Достоевский до нар и опустился на пол около них. Рядом, скорчившись от холода, прикорнул Ястржембский. Дуров сел на нары. Друзья молчали.

Многодневное путешествие не прошло для них даром. У Дурова были отморожены пальцы на руках и ногах, а кандалы в кровь стерли щиколотки. Достоевский жестоко страдал от золотушных язв во рту и на лице. У Ястржембского был отморожен нос. Ко всему прочему, они чувствовали страшную усталость.

В соседней камере, отделенной от петрашевцев лишь тонкой перегородкой, помещались арестанты, находившиеся под следствием. Оттуда слышались крики играющих в карты и юлу, брань, звон бутылок и стаканов. Там шла ожесточенная карточная игра и бушевала пьяная оргия.

Начало было малоутешительным. Вместо отдыха, о котором так мечтали несчастные узники, они вынуждены были сидеть в темной и холодной камере, испытывая муки голода и не имея возможности даже сомкнуть глаз из-за страшного шума, поднятого за стеной.

Особенно тяжело переживал все это Ястржембский. Его охватило такое глубокое отчаяние, что он решил покончить с собой. И только благодаря Достоевскому, который сумел успокоить и ободрить своего товарища, Ястржембский удержался от этого шага. Много лет спустя он писал в своих воспоминаниях об этом случае: «Его (Достоевского—**Н. Я.**) симпатичная и милая беседа излечила меня от отчаяния и пробудила во мне надежду... Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек... подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения»[32].

Сколько пробыли петрашевцы в таком положении, они и сами не могли бы сказать. Время тянулось убийственно медленно. Прошла проверка. Загрохотал засов, и в дверь заглянули смотритель, караульный офицер и солдат с ружьем. Подозрительно оглядев несчастных узников, они скрылись. Снова лязгнул засов,

и по корилору затопали подкованные сапоги офицера и солдат. Притихшие на время проверки арестанты в соседней комнате вновь подняли невообразимый шум. Лишь в камере петрашевцев по-прежнему было тихо. Тишину нарушала только шумная возня мышей в углу камеры.

Узники несколько ободрились, когда им по распоряжению жандармского офицера, оказавшегося знакомым Ястржембского и узнавшего о прибытии ссыльных петрашевцев в Тобольск, принесли свечу и горячий чай. Большую часть ночи друзья провели, вполголоса разговаривая друг с другом, и только под утро заснули тревожным и беспокойным сном.

Потянулись долгие дни ожидания. Достоевский и его друзья узнали, что в этом же остроге, только в другом отделении находятся Петрашевский, Спешнев, Момбелли и другие, прибывшие сюда раньше. Но содержали их чрезвычайно строго, и виделись они только мельком.

В то время в Тобольске жили сосланные в Сибирь декабристы А. М. Муравьев, Н. А. Анненков, М. А. Фон-Визин и другие со своими семьями. Сами декабристы, в силу своего положения политических ссыльных, конечно, не могли и думать о том, чтобы как-то связаться с осужденными петрашевцами. Но их жены — Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д. Фон-Визина — с успехом выполнили все, что не могли сделать их мужья. Они присылали узникам одежду, продукты, деньги, как могли утешали и ободряли их. Как потом вспоминал Достоевский, «заботились об нас, как о родне»[33].

Прошло шесть дней. Петрашевцам сообщили, что Достоевский и Дуров будут отправлены в Омскую каторжную тюрьму, а Ястржембский будет отбывать свое наказание в Екатерининском винокуренном заводе Тарского округа. Ястржембский отправился первым. Друзья обнялись и расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться.

Накануне отъезда Достоевского и Дурова жены декабристов сумели умолить смотрителя острога и устроили в его квартире свидание с ними. «Мы увидели

этих великих страдалиц, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, — добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все, знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили евангелием — единственная книга, позволенная в остроге»[34]. Во внутренний переплет книги были вложены и тщательно спрятаны десять рублей ассигнациями. Эти деньги на первых порах оказались сущим благодеянием для Федора Михайловича.

Н. Д. Фон-Визина и ее знакомая, дочь прокурора Тобольска М. Д. Францева, решили еще раз повидаться с Достоевским и Дуровым. Узнав о дне их отъезда, они выехали за город на дорогу, ведущую в Омск. В своих «Воспоминаниях» М. Д. Францева рассказывала: «Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтобы не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания...

Долго нам пришлось прождать запоздалых путников... Прислушиваясь беспрестанно к малейшему шороху и звуку, мы ходили взад и вперед, согревая ноги и мучаясь неизвестностью, чему приписать их замедление. Наконец, мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу и, когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров... Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди...»[35]

М. Д. Францева дала жандарму письмо для передачи в Омск своему близкому знакомому, инспектору Омского кадетского корпуса Ждан-Пушкину, которого просила оказать помощь Достоевскому и Дурову. В свою очередь, Н. Д. Фон-Визина написала генерал-губернатору Западной Сибири князю Горчакову, своему родственнику, и просила сделать все возможное, чтобы как-нибудь облегчить судьбу узников.

Но жандармы везли еще одно письмо — секретное предписание Тобольского губернского управления омскому коменданту, где, в частности, говорилось, что «Государю Императору благоугодно, чтобы помянутые преступники (т. е. Достоевский и Дуров — **Н. Я.**), по распределении их распоряжением приказа о ссыльных по назначению, в полном смысле слова были арестантами, соответственно приговору, облегчение их участи в будущем времени должно зависеть от их поведения и монаршего милосердия, но отнюдь не от снисхождения к ним ближайшего начальства; для неослабного и строгого надзора должны быть назначены надежные чиновники»[36].

Николай I никогда не забывал и никогда не прощал своих врагов. Жестоко расправившись с петрашевцами, он продолжал внимательно следить за тем, чтобы все они отбыли наказание полностью и чтобы никому из них не делали никаких снисхождений. Царь остался верен себе вплоть до самой смерти. Он отвечал отказом на все просьбы и рапорты о смягчении участи петрашевцев, ответил отказом российский самодержец и на ходатайство омского коменданта в марте 1852 года о переводе Достоевского и Дурова «из каторжных в разряд военно-срочных арестантов и об освобождении от ножных желез» [37].

Кандалы с Достоевского сняли только 15 февраля 1854 года, т. е. после окончания срока каторжных работ.

До Омска ехали три дня. Дорога не радовала. Сначала по обеим сторонам ее стеной стояли угрюмые хвойные леса, потом они поредели и уступили место

редким березовым перелескам. А потом потянулась безбрежная, терявшаяся где-то далеко-далеко, у самого горизонта, однообразная равнина. Все здесь было чужое. И глухая тайга, и сменившая ее унылая степь, и одинокие сибирские деревни, полузанесенные снегом, с необычными названиями: Старопогост, Истецкая, Абатская и т. д.

События последних дней, встреча с женами декабристов, беседы с ними снова подняли в душе Достоевского множество вопросов. Решившись еще во время своего пребывания в Петропавловской крепости порвать с прошлым и начать новую жизнь, он все-таки до конца не был уверен в том, правильно ли поступает. Но теперь ему показалось, что он нашел еще одно очень убедительное подтверждение своим мыслям о бесполезности и бесперспективности открытой борьбы и революционных выступлений. Судьба декабристов лишний раз напоминала ему о том, что путь бунтарства — это путь, по всей вероятности, ложный, который ни к чему, кроме новых страданий для человечества, привести не может.

Утомленные и измученные лица «ни в чем не повинных великих страдалиц» Анненковой, Муравьевой, Фон-Визиной как будто стояли перед его глазами. Достоевский не мог не восхищаться их силой воли, твердостью, но он не мог не почувствовать и того, что они — люди уже во многом сломленные, отказавшиеся от борьбы и сопротивления, находящие утешение лишь в религии и благотворительной деятельности.

Большое впечатление на Достоевского произвел разговор с женами декабристов во время свидания на квартире у смотрителя. До сих пор в ушах его звучали их слова: «Надо терпеть! Надо покорно нести крест, выпавший вам на долю!»

Достоевский не знал, что среди декабристов были и другие — непреклонные, мужественные борцы, не пожелавшие сложить оружия, —такие, как М. Бестужев, М. Лунин, В. Раевский и другие. Но не с ними довелось встретиться писателю, не с ними говорил он в эту трудную для себя минуту. Далеко были Петра-

шевский и Спешнев, наиболее последовательные и убежденные социалисты, люди, которых Достоевский глубоко уважал и которым верил. А из бывших рядом, один, Ястржембский, сам нуждался в поддержке, а с другим, Дуровым, Достоевский был не настолько близок, чтобы поверять ему самые сокровенные свои мысли, да к тому же за последние дни отношения между ними в значительной мере испортились, и они почувствовали друг к другу взаимную неприязнь. Так и не оказалось рядом с ним человека, рассеявшего бы его сомнения и указавшего на ложность пути, на который он становился. Ведь именно этот путь, путь отказа от борьбы, признание смирения в качестве основного противодействия социальному злу и привел Достоевского в конце концов в лагерь реакции.



Глава III.

„СИЛЬНОКАТОРЖНЫЙ“

«Что за ужасное было это время...»

Ф. М. Достоевский — А. М. Достоевскому

ПУТЕШЕСТВИЕ приближалось к концу. На третий день пути среди голой пустынной равнины перед путниками возник Омск, широко раскинувшийся на берегу Иртыша.

В то время Омск был административным центром Западной Сибири, своего рода сибирской столицей:

здесь находилась резиденция генерал-губернатора и штаб Отдельного сибирского корпуса. Но это нисколько не мешало Омску оставаться таким же захолустьем, как и многие другие сибирские города.

В ранних сумерках быстро угасавшего зимнего дня перед петрашевцами возникли полузанесенные снегом улицы с небольшими одноэтажными и двухэтажными домами, из-за которых кое-где выглядывали крашеными маковками небольшие церквушки, пустыри, заваленные сугробами снега, а впереди виднелись какие-то каменные здания и громады нескольких соборов.

Тихо и пустынно было на улицах Омска. Только около трактиров слышался нестройный гомон подгулявших горожан, крики, а иногда и ругательства. На проехавших под конвоем петрашевцев почти никто не обратил внимания. Видимо, зрелище было привычное.

В центре города у самой реки возвышались стены старой крепости, построенной еще в середине XVIII века. Со всех сторон она была обнесена довольно высоким земляным валом, с трех сторон крепость окружал глубокий ров, а с четвертой катил свои могучие воды Иртыш. Сюда, к крепости, и повернули тройки с осужденными петрашевцами.

Через массивную арку ворот въехали внутрь крепости. Прямо перед ними высоко в небо поднимал свои купола старинный Воскресенский собор. Тут же неподалеку находился генерал-губернаторский дворец, вокруг которого располагались комендантское и инженерное управление, корпусный штаб, казармы. Невдалеке от них, на краю крепости, у самого вала, виднелся высокий забор из толстых черных кое-где сгнивших бревен, врытых стоймя в землю и заостренных сверху. Внутрь его вели крепкие запертые ворота, около которых стояли часовые. Это была Омская военно-каторжная тюрьма. Здесь предстояло Достоевскому провести четыре года.

Тяжелые ворота тюрьмы медленно, со скрипом раскрылись перед петрашевцами и глухо захлопнулись за их спиной. Назад пути не было. А впереди в

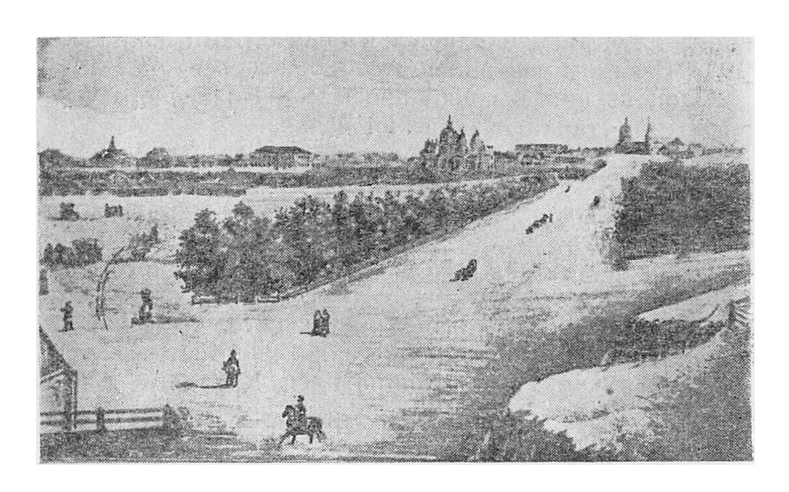
сгущавшихся сумерках темнело несколько ветхих зданий. По обеим сторонам обширного двора тянулись длинные одноэтажные постройки. Как потом оказалось, это были казармы, где жили арестанты. За ними выступали очертания еще каких-то сооружений: там были кухня, амбары, погреба. Около самых ворот находилась кардегардия — караульное помещение.

Тюремный двор, на котором только что не было ни души, постепенно заполнялся арестантами, возвратившимися с работы. Они выстраивались на площади, расположенной между двумя казармами. Началась вечерняя перекличка.

Вид арестантов поразил Достоевского. Из-под грязных полушубков, в которые они были одеты, виднелись куртки и штаны, сшитые из грубого сукна разного цвета: серого и темно-бурого. На ногах у всех были кандалы. На вновь прибывших смотрели хмурые, неприязненные лица. «Да, — подумал Достоевский, — тут... свой особый мир, ни на что более не похожий; тут... свои, особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи... жизнь — как нигде, и люди особенные»[38]. Среди этих людей ему предстояло прожить не день, не два, а целые годы. Все это время надо было безмолвно подчиняться их законам, считаться с их нравами и обычаями. И далеко не сразу постиг писатель все премудрости и особенности арестантской жизни, не сразу сумел расположить к себе неприветливых обитателей острога.

Петрашевцев ввели в караульное помещение. Почти одновременно с ними туда же буквально ворвался какой-то офицер с багровым и злым лицом, в очках, за стеклами которых рыскали маленькие глазки. Это был непосредственный начальник Омского острога, штаб-майор Кривцов, по определению Достоевского, «каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, все, что только можно представить отвратительного»[39]. Страшный он был человек, бессмысленно жестокий и грубый. Арестанты звали его «Васькой восьмиглазым» за то, что от его рысьего взгляда трудно было что-нибудь утаить.

Судьба содержавшихся в остроге заключенных во



Омск в 50-е годы XIX в.

многом зависела от Кривцова. Ежемесячно он доносил начальству о поведении каждого арестанта в отдельности, и его аттестация вписывалась в постатейный список заключенного. Все просьбы, жалобы и претензии тоже проходили через Кривцова. В его власти было сделать послабление арестанту или, наоборот, замучить его непосильной работой. И в большинстве случаев бывало именно последнее. Малейшая провинность осужденного влекла за собой наказание палками и розгами.

В остроге Кривцов никогда не появлялся трезвым и всегда искал повод для того, чтобы учинить расправу. То он придирался к трезвому арестанту и драл его под предлогом, что тот пьян, то требовал, чтобы арестанты спали на правом боку и не смели вскрикивать и бредить во сне. «В общем наказывал за все, что только влезет в его пьяную голову»[40], — вспоминал позднее Достоевский. О самодурстве Кривцова ходило много рассказов.

Из Усть-Каменогорска в Омский острог незадолго до прибытия туда петрашевцев была переведена партия ссыльных поляков. Увидев их изнуренные, оброс-

шие лица, Кривцов пришел в бешенство и закричал:

— В каком они виде! Это бродяги, разбойники!

Один из них, бывший профессор Виленского университета, старик Жадовский возразил:

— Мы не бродяги, а политические преступники.

— Ка-ак! Ты грубить? Грубить! — заревел майор. — В кардегардию! Сто розг, сей же час, сию же минуту![41]

И бедный старик был наказан, хотя никакого проступка и не совершил.

Под начальство этого вечно пьяного, потерявшего человеческий облик майора и поступили петрашевцы.

— Тебя как зовут? — обратился Кривцов к Дурову.

— Дуров.

— А тебя?

— Достоевский.

— Унтер-офицер! Сейчас в острог их... Выбрить по-гражданскому, немедленно!.. Кандалы перековать завтра!.. Все отобрать!.. Отдать одно белое белье!

И, обращаясь к петрашевцам, добавил:

— Вести себя смирно!.. Чтоб я не слышал! Не то... телес-ным на-казанием! За малейший проступок — р-р-розги![42]

Так началась для Достоевского новая жизнь.

*

Усатый унтер-офицер вышел и вскоре вернулся с цирюльником, который выбрил петрашевцев «по-гражданскому», т. е. обрил бороду, половину головы и один ус.

Получили они и новую арестантскую одежду: серые брюки, серые пополам с черным куртки, на спине которых были нашиты желтые тузы, выношенные полушубки, серые без козырьков картузы и сапоги с короткими голенищами. Затем тот же унтер-офицер отвел их в казарму, старое, наполовину вросшее в землю здание. Часовой открыл дверь, и петрашевцы оказались в длинной, низкой комнате, едва освещенной сальными свечами.

В первую минуту Достоевский никак не мог понять, куда он попал. Ему показалось, что он провалился в какое-то мрачное сырое подземелье, наполненное странными, копошащимися призраками. Вместе с душным, промозглым воздухом на вошедших обрушилась лавина невообразимого шума. В помещении как будто кричала, стонала, охала целая толпа, хотя, как оказалось, людей там было не так уж и много. Все это было так неожиданно, что Достоевский растерянно остановился около дверей. Минуту спустя, когда глаза привыкли к полумраку, он отважился сделать несколько шагов — и едва удержался на ногах: пол был чуть ли не на два пальца покрыт липкой и скользкой грязью. Держась за стену, он с трудом добрался до своего места на нарах, которое ему указали, сел и огляделся. Сквозь чад и копоть, наполнявшие комнату, он увидел человек тридцать арестантов с бритыми головами и клеймеными лицами, сидевших и лежавших на нарах. Почти каждый из них чем-нибудь занимался. Одни тачали сапоги, другие пытались из старых лоскутов сшить какое-то подобие одежды, третьи что-то вырезали из дерева. Только в углу кучка арестантов, позабыв обо всем на свете, ожесточенно играла в карты. Оттуда и несся шум, который сначала так ошеломил писателя.

Картина вопиющей нищеты открылась перед Достоевским. Куда бы он ни обращал свой взор, повсюду видел беспорядочные груды лохмотьев и тряпья. С ужасом смотрел он на арестантов, одетых в грязную, заношенную до дыр, покрытую разноцветными заплатами одежду, напрасно пытался разглядеть на нарах что-то похожее на постели. У очень немногих были тонкие, как блины, матрацы и набитые сеном, а чаще всего соломой подушки. Большинству же арестантов постелью служили полушубки, выношенные до кожи.

Хотя в углу почти все время топилась огромная уродливая печь, в казарме было холодно. От дыма и копоти, клубами висевших в воздухе, щипало глаза и першило в горле.

Появление новичков, казалось, не произвело на

арестантов никакого впечатления. Правда, некоторые из них изредка бросали на петрашевцев недружелюбные взгляды, но все старались сделать вид, что ничего особенного не произошло. Как потом узнал Достоевский, одним из признаков «хорошего тона», своего рода добродетелью, на каторге считалось умение и способность ничему не удивляться...

Сначала все арестанты казались Достоевскому на одно лицо: все бритые, клейменые, оборванные. Но, внимательно присмотревшись, он увидел, что первое впечатление обманчиво. Каждый был по-своему непередаваемо оригинален.

Арестанты, отбывавшие в то время наказание в Омской каторжной тюрьме, принадлежали к самым различным национальностям, были выходцами из всех частей обширной Российской империи. Среди них встречались не только русские, но и украинцы, и белорусы, и поляки, и евреи, и даже кавказские горцы. Но еще более пестрым предстал перед Достоевским социальный состав каторги. Бывшие дворяне, крепостные крестьяне, мещане, люди купеческого звания, не помнящие родства бродяги — все они перемешались в остроге. Сами каторжники по этому поводу невесело шутили: «Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу»[43].

Достоевский знал, что все арестанты делились в каторге по разрядам в зависимости от совершенного преступления. Были здесь «ссыльнокаторжные», или, как их называли сами обитатели острога, «сильнокаторжные» (к этому разряду относились и петрашевцы), люди, лишенные всех прав, состояния, осужденные на каторжные работы от восьми до двенадцати лет; были преступники военного разряда, присылаемые на короткие сроки; а также «всегдашние» арестанты, приговоренные за вторично совершенные преступления на двадцать лет и, наконец, существовал разряд самых ужасных преступников, который назывался «особым отделением», куда люди ссылались без срока.

Разные пути привели всех этих людей на каторгу. Одни стали преступниками под влиянием жизненных условий, другие попали сюда по несправедливому об-

винению, третьи случайно оказались замешанными в каком-нибудь темном деле. Были среди них профессиональные воры и убийцы, «...у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля»[44], — говорил потом Достоевский.

Среди арестантов, по словам писателя, немало было и таких, которые совершали убийства, «защищая от сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери», убивали, «...защищая свою свободу, жизнь...» А были и такие, которые сознательно шли на преступление, «чтоб только попасть на каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле»[45].

Место Достоевского оказалось недалеко от двери, и он имел возможность видеть всю казарму и незаметно наблюдать за ее обитателями. Внимание его прежде всего привлекла живописная группа кавказских горцев, расположившихся на нарах слева. Лица их, обезображенные клеймами, были суровы и мужественны. Как потом узнал Достоевский, один из них обвинялся в убийстве русского офицера, который пытался обесчестить его невесту, другие попали сюда за то, что, не желая подчиняться русскому господству на Кавказе, нападали на крепости и военные посты завоевателей. Среди них выделялся молодой черкес с открытым и доверчивым лицом, с большими ласковыми и тоскующими глазами. Он всегда держался несколько в стороне от других арестантов, избегал ссор и брани, но в обиду себя никогда не давал. Звали его Алеем. С ним Достоевский вскоре близко познакомился и выучил его сначала говорить, а потом читать и писать по-русски. Федор Михайлович любил беседовать с Алеем, расспрашивал о его прежней жизни, о Кавказе, об обычаях горцев. И в благодарность за внимание к себе Алей часто помогал ему, чем только мог, старался в меру своих сил хоть чем-нибудь облегчить и скрасить тяжелую жизнь писателя на каторге. Много лет спустя Достоевский говорил, что встреча с Алеем была одной из лучших встреч в его жизни[46].

Видя внимание, с каким Достоевский относился к Алею, и другие горцы стали дружелюбнее смотреть на писателя, он постепенно перестал чувствовать пустоту и одиночество, которые испытывал вначале.

Напротив Достоевского, с другой стороны нар, помещался бывший есаул Кавказского казачьего войска Белов, один из немногих дворян, содержавшихся тогда в остроге. Человек он был ограниченный и недалекий, но к Достоевскому относился хорошо, в первые дни помогал ему устроиться на новом месте, рассказывал о каторжных порядках, характеризовал наиболее известных каторжников. Но близко они так и не сошлись. Федор Михайлович не мог примириться с тем равнодушием, с каким тот относился к окружающим, да и к своей собственной участи. Писателю иногда казалось, что Белов собирается прожить в остроге всю жизнь, так основательно он в нем устроился, что для него даже не имеет значения, где он будет жить — на каторге или на воле.

Кроме Белова, в остроге было еще двое дворян: Аристов и Ильин.

Первый — «низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу»[47], угодивший на каторгу за то, что оговаривал ни в чем не повинных людей, приписывая им участие в антиправительственных заговорах. О нем Достоевский слышал еще в Тобольске.

История второго поразила Достоевского.

Несколько лет назад в Тобольском линейном батальоне служил подпоручик Ильин. Человек взбалмошный и легкомысленный, он вел жизнь самую непутевую, за что был разжалован в солдаты. Одновременно его обвинили в тягчайшем преступлении — отцеубийстве, но, за неимением достаточных улик, «суд полагал оставить его в сильном подозрении». Однако Николай I, ознакомившись с делом Ильина, наложил резолюцию: «Отцеубийца не должен служить в рядах войск. В каторжные работы на двадцать лет»[48]. И только спустя десять лет была доказана полная невиновность Ильина. Что должен был вынести человек за годы, когда над ним тяготело столь страш-

ное обвинение! «Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе, — писал об этом Достоевский, — ...и если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины мертвого дома»[49]. Более определенно свое отношение к этому событию, возможному только в условиях самодержавно-крепостнической действительности, Достоевский, в силу цензурных условий, высказать не мог, но даже эти скупые строки говорят о глубоком негодовании, охватившем писателя при виде подобного беззакония и произвола.

Следует отметить, что этот факт о мнимом отцеубийце был много лет спустя использован писателем в романе «Братья Карамазовы», а подпоручик Ильин в известной мере послужил прототипом героя этого романа — Дмитрия Карамазова.

В стороне от всех держалась группа ссыльных поляков, осужденных в большинстве своем за участие в польском восстании. «Все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые, — рассказывал Достоевский, — ...им было очень тяжело... Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет...»[50]

Наиболее интересными фигурами среди ссыльных поляков были Александр Мирецкий и Шимон Токаржевский.

С Мирецким Достоевский довольно быстро подружился и относился к нему с искренним уважением, но полюбить его так и не смог. «Это был глубоко недоверчивый и озлобленный человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой... Это была натура сильная и в высшей степени благородная»[51], — говорил писатель.

Токаржевский был незаурядной личностью. Еще в молодости примкнул к революционной организации и всю свою жизнь посвятил борьбе за освобождение Польши от иностранного владычества. Токаржевский много лет провел на каторге и в ссылке, о чем рассказал в своих книгах «Семь лет каторги», «Тернистым

путем», «Каторжники», которые, к сожалению, не переведены еще на русский язык.

С поляками Достоевский близко так и не сошелся. Ему непонятны были цели и задачи польского национально-освободительного движения, непонятны были люди, столь фанатично преданные этому движению. Непонятно было и то, что ненависть к русскому самодержавию поляки нередко переносили на все русское.

В свою очередь, поляки тоже недолюбливали Достоевского. Им казалось странным, что человек, осужденный за политические преступления, ведет себя тихо, скромно, не осыпает проклятиями и угрозами правительство, заставившее испытать его все ужасы каторжной жизни.

Внимательно рассматривая своих товарищей по несчастью, Достоевский увидел в углу казармы усердно молившегося маленького старика, который настолько был поглощен своим занятием, что, казалось, совсем не обращал внимания на то, что происходило вокруг. На каторгу, как рассказал Достоевскому Токаржевский, старик попал за то, что вместе с другими раскольниками сжег православную церковь. «О своих религиозных убеждениях он ни с кем не разговаривал, но нисколько не жалел о своем проступке, который довел его до каторги, и говорил: «Когда нужно стоять за веру, я на все готов. И терпеть готов... да и церковь палить тоже»,—добавлял он шепотом, и в это время его кроткие голубые глаза горели, а маленькая фигурка, казалось, вырастала и становилась просто гигантской»[52]. Среди арестантов он славился удивительной честностью, и большинство из них давали ему свои деньги на хранение.

Обо всех этих подробностях Достоевский узнал, конечно, позднее, когда несколько освоился и привык к новой своей жизни. В первый же вечер перед его глазами, как в тумане, промелькнули лица, фигуры, силуэты людей, с которыми ему предстояло прожить целых четыре года. Одних он заметил сразу, с другими познакомился через несколько дней, а некоторые мрачные и угрюмые личности так и остались для него навсегда загадкой.

* * *

Шум в казарме постепенно стихал. Арестанты один за другим укладывались спать. Прилег и Достоевский, хотя лежать на голых нарах, не имея подушки, было очень неудобно. Да и короткий полушубок, не закрывавший даже ног, грел плохо.

Федор Михайлович закрыл глаза и попытался заснуть. Но, несмотря на страшную усталость, сон не приходил. Слишком много впечатлений обрушилось на него в этот первый вечер острожной жизни, слишком непривычна была окружающая обстановка.

Настала ночь, но в казарме по-прежнему не было тишины. Арестанты беспокойно ворочались, вскрикивали и что-то бормотали во сне. Отовсюду слышались то тяжелые вздохи, то свистящий шепот, то злобные ругательства, а иногда казарму вдруг оглашал душераздирающий крик — это кому-то приснилось то, о чем он старался не думать днем, но что преследовало его в ночных кошмарах: «Мы народ битый, — говорили арестанты, — у нас нутро отбитое; оттого и кричим по ночам»[53].

Мешали спать и насекомые, которые как будто только и ждали прихода нового человека, чтобы безжалостно накинуться на него. Все тело зудело, горело огнем. Нескоро привык ко всему этому Достоевский. Но новая жизнь только еще начиналась. Многое ожидало его впереди, со многим предстояло столкнуться, ко многому привыкнуть. Наконец усталость взяла свое, и он погрузился в тревожный лихорадочный сон.

Ему показалось, что не успел он закрыть глаза, как раздался глухой треск барабанного боя. Это у ворот острога пробили зорю, а спустя несколько минут караульный офицер, гремя ключами, открыл наружный замок и распахнул дверь.

Свежий морозный воздух клубами ворвался в казарму и белой пеленой разостлался по полу. Дрожа от холода, угрюмые и заспанные арестанты неохотно поднимались с нар.

Некоторое время в помещении слышалось оханье, вздохи, слова молитвы. Но вот в углу кто-то недовольно проворчал:

— Куда лезешь, язевый лоб!

— Ишь взъелся! Сам проваливай! — послышалось в ответ.

Слово за слово, и вспыхнула ссора. Два арестанта, один высокий, угрюмый, а другой толстый, приземистый, с веселым и румяным лицом, сжимая кулаки, подступали друг к другу. Ругательства, которыми они осыпали друг друга, становились все обиднее и злее.

— Ах ты, огрызок собачий! — кричал один.

— Ах ты, франт, коровьи ноги! — не оставался в долгу другой.

Казалось, вот-вот произойдет драка. Но, как потом узнал Достоевский, подобные сцены были обычным явлением и разыгрывались обычно для потехи окружающих. До драки дело почти никогда не доходило. Слишком уж разбушевавшихся спорщиков осаживали сами же каторжники.

Арестанты столпились у ведер с водой, ожидая своей очереди умываться. Так как ковш был один, то и здесь не обошлось без ссор.

— Ах, чтоб-те якорило!

— Остолоп! Никакой фортикультяпности нет!

— Мужик — медвежья пятка! — обменивались «любезностями» арестанты.

— Ну-ну-ну! Полно вам, — заворчал солдат-инвалид, проживавший тут же в казарме для поддержания порядка.

Помещение постепенно опустело. Вслед за другими арестантами Достоевский вышел на улицу. Светало. После душной казармы приятно было полной грудью вдыхать сухой морозный воздух.

Вся каторга собралась на кухне. Сквозь густую толпу каторжников Федор Михайлович протиснулся к столу и сел. Вокруг разместились арестанты в подпоясанных полушубках и шапках, готовые выйти на работу. Перед ними стояли деревянные чашки с квасом, куда они крошили хлеб и, прихлебывая его, завтракали.

Здесь, как и в казарме, стоял нестерпимый шум и гам. Кто-то требовал чашку, кого-то обделили при раздаче хлеба, кому-то не хватило места за столом.

То тут, то там возникала перебранка. Никто никого не останавливал. Браниться, «колотить» языком в остроге считалось делом обычным. На это смотрели как на своего рода развлечение.

Еще с вечера Достоевский заметил недоброжелательные взгляды, которые бросали на него и Дурова арестанты. Сейчас он увидел вокруг себя мрачные озлобленные лица, сурово и насмешливо глядевшие на него отовсюду. Как оказалось, это была не просто неприязнь к новичкам, а глубокая и вполне осознанная ненависть к бывшим дворянам. Обитатели острога подчеркнуто сторонились их и всем своим поведением старались показать, что они чужие и что ничего общего между ними быть не может. «Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, — писал Достоевский по выходе из каторги, — и потому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобной радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали»[54]. А сколько насмешек и оскорблений пришлось перенести Достоевскому и его товарищам-дворянам! «Вы, железные носы, нас совсем заклевали, — говорили арестанты. — Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал».

— Нет, теперь полно! Постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, — злорадно усмехались они.

Подобное отношение к дворянам во многом объяснялось особенностью общественной обстановки, которая сложилась тогда в России.

В те годы крепостное право уже изжило себя. Глухая реакция, господствовавшая в стране, не в силах была задушить голос протеста, который все чаще и чаще раздавался во всех слоях русского общества, в том числе и в широких массах крепостных крестьян. Известный критик прошлого столетия А. Скабичевский писал, что он очень хорошо помнит «мрачное озлобление, какое чувствовалось в то время в серых массах не к одним только помещикам и чиновникам, а вообще ко всем людям, ходившим в немецком платье и читавшим книги. Становилось жутко от косых, полных вражды и ненависти взоров,

встречавшихся на каждом шагу, отрывочных, грубых слов и готовности при всяком удобном случае поставить в скверное положение и при этом насмеяться над вами»[55].

Несомненно, что эта ненависть, глухо бродившая и клокотавшая в груди народа, проникла и за стены Омского острога. Это и не могло быть иначе, так как значительная часть арестантов состояла прежде всего из тех же крепостных крестьян, сосланных на каторгу за участие в бунтах и волнениях, за убийства и покушения на жизнь своих господ, из людей, не помнящих родства, то есть тоже крестьян, которые отказывались назвать свое имя из страха вновь попасть в кабалу к помещику.

В отчужденности от окружавших его людей в известной мере был виновен и сам Достоевский. Человек больной, раздражительный, он сам иногда сторонился их. Писатель признавался, что «среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, способных и мыслить и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо из души, может быть, более меня пострадавшей и вынесшей»[56].

Видя враждебное отношение к себе каторжников, Достоевский старался им ни в чем не противоречить и как можно реже попадаться на глаза. Но он совершенно искренне хотел понять, в чем же причина этой ненависти и неприязни к дворянам. Однако это не всегда удавалось ему. Писатель прилагал множество усилий для того, чтобы понять чувства и мысли арестантов, пытался разобраться в их сложной психологии. Но понадобилось почти два года, прежде чем обитатели острога перестали его сторониться и избегать разговоров с ним. Но в свою семью они его так и не приняли, своим товарищем так и не признали. Арестанты видели в нем человека другого мира, человека, глубоко чуждого им.

— Всякий из новоприбывших в острог, — расска-

зывал Достоевский, — через два часа по прибытии становится таким же, как все другие, становится у себя дома, таким же равноправным хозяином в острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным, с дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой; его не поймут, а главное — не поверят ему. Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он, наконец... того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой и вечно мучительно будет сознавать свое отчуждение и одиночество...[57] Это особенно ярко подтвердилось, когда однажды арестанты выстроились во дворе для того, чтобы заявить коллективный протест, или, как они сами говорили, «претензию» против выдачи плохой пищи, а Достоевский вместе с другими встал в строй. Это страшно изумило каторжников.

— Ты зачем здесь? — спросил один из них. — Ступай в казарму!

— Ишь, тоже выполз, — насмешливо проговорил другой.

— Ты ведь свое ешь, чего ж сюда лезешь!

— Ах, боже мой, да ведь и из ваших есть, что свое едят, вышли же. Ну, из товарищества...

— Да какой ты нам товарищ! — со злобой сказал рядом стоявший каторжник и за руку вывел Достоевского из рядов.

О том, за что были осуждены петрашевцы, обитатели острога не имели ни малейшего представления. Сам же Достоевский и Дуров тоже о себе ничего не рассказывали, и поэтому им «пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они (т. е. арестанты) живут и дышат к дворянскому сословию»[58].

— Да-с, дворян они не любят, — говорил бывший есаул Белов Федору Михайловичу, — особенно политических, съесть рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с?[59]

И нескоро нашел Достоевский дорогу к сердцам простых людей, нескоро расположил их к себе.

* * *

Окончив скромную трапезу, арестанты один за другим выходили на улицу и строились перед кардегардией. Впереди и сзади их расположились конвойные солдаты с заряженными ружьями. Перед строем появился инженерный офицер в сопровождении надсмотрщиков. Началось распределение арестантов по партиям и назначение на работу.

Первые три дня Достоевский и Дуров были освобождены от работ, так как считалось, что вновь прибывшие должны хоть немного отдохнуть после дороги, устроиться на новом месте. Петрашевцы получали казенное белье, знакомились с распорядком дня, правилами каторги. Вскоре их вместе с другими арестантами повели в инженерную мастерскую — низенькое каменное здание, стоявшее посреди огромного пустыря, недалеко от острога. Там петрашевцев перековали: кольчатые кандалы — «мелкозвон», как их называли арестанты, заменили форменными, острожными, состоящими из четырех железных прутьев толщиной почти в палец, соединенных между собою тремя кольцами. Форменные кандалы одевались под верхнюю одежду и были сделаны с таким расчетом, чтобы меньше мешали при работе.

Между тем время клонилось к обеду. По одному и целыми группами арестанты возвращались в острог, шли на кухню и усаживались за столы. Кашевар огромным черпаком наливал в миски щи. Вместе с другими Достоевский попробовал было начать есть, но не смог. Сваренные в общем котле и слегка заправленные крупой, они своим видом напоминали мутную баланду, которую не только есть, но видеть-то было неприятно. Правда, на каждого человека полагалось четверть фунта мяса, но так как его предварительно мелко-мелко крошили, то отыскать его в щах было почти невозможно. Зато поражало обилие в них тараканов. Вообще кормили арестантов очень плохо. «Есть нам давали хлеба и щи... — рассказывал Федор

Михайлович. — По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше»[60].

И немудрено, что уже в первые месяцы жизни в остроге Достоевский начал жестоко страдать от болезни желудка. Его спасало то, что он на полученные от жен декабристов деньги мог иногда покупать продукты и просить кашевара готовить ему отдельно. Но большей же частью он ограничивался хлебом и чаем.

Уже в первый день пребывания на каторге Достоевский едва не стал жертвой пьяного разгула одного из самых отвратительных обитателей острога татарина Газина. «Этот Газин был ужасное существо, — рассказывал Достоевский в «Записках из мертвого дома». — Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его...»[61] В обычные дни Газин держался тихо и благоразумно. Но стоило ему напиться (а это случалось с ним раза два в год), он становился страшен, и уж тут ничто не могло остановить его. И случилось именно так, в этот день Газин загулял.

Он вошел в кухню, огляделся и, увидев петрашевцев, которые пили чай, покачиваясь, направился к ним.

— А позвольте спросить, — проговорил он злобно и насмешливо, — вы из каких доходов изволите здесь чаи распивать?

Достоевский и Дуров молча переглянулись и промолчали.

— Стало быть, у вас деньги есть? — не унимался Газин. — А разве вы за тем на каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Да говорите же, чтоб вас!

Видя, что арестанты стараются не обращать на него внимания, он пришел в ярость. На глаза ему попался тяжелый лоток для хлеба, он схватил его и взмахнул над их головами. Все в ужасе замерли. Вдруг из сеней раздался крик:

— Газин! Вино украли!

Он с силой швырнул лоток на пол и бросился вон из кухни.

— Ну, бог спас! — говорили арестанты между собой[62].

Нетрудно представить себе, что за эти мгновения перенес писатель.

Так каторга раскрывалась перед ним все новыми и новыми сторонами. Даже за один день он узнал здесь столько, что не сразу сумел во всем разобраться. Многое казалось диким, страшным и, главное, необъяснимым.

* * *

В хлопотах по устройству самых различных дел три дня пролетели незаметно. Достоевский уже свыкся с мыслью о том, что в остроге придется прожить долгое время. Поэтому он старался устроиться основательно: из выделенного казенного холста отдал одному из арестантов шить рубашки, завел себе небольшой складной тюфячок из войлока, обшитого холстом, и маленькую подушечку, набитую шерстью. Сосед по нарам Белов сшил ему из лоскутов старого сукна одеяло. Теперь он уже не страдал так от холода, как вначале.

С нетерпением и любопытством ожидал Достоевский тот день, когда он пойдет на работу. Какова-то она, эта каторжная работа?

День этот начался, как и предыдущий. Только теперь Достоевский после завтрака вместе с другими арестантами в ожидании распределения на работу стал в строй. Его вместе с Дуровым включили в партию, которая под конвоем солдат отправилась на реку, где должна была разобрать две старые барки, вмерзшие около берега. Барки давно уже пришли в полную негодность и никому не были нужны, а арестантов посылали на них для того, чтобы чем-нибудь их занять, чтобы они не сидели без дела. Такую бесполезную работу арестантов заставляли выполнять довольно часто и делалось это для того, чтобы сломить человека, нравственно изуродовать его.

Погода стояла чудесная. Было удивительно тепло, так что снег едва-едва не таял. Побрякивая кандалами, партия арестантов направилась к реке. Вскоре вдали показался замерзший Иртыш, а недалеко от бе-

рега чернели барки, которые предстояло разобрать. К удивлению Достоевского, никто не торопился приступить к работе. Арестанты уселись на берегу и закурили. Но пришедший унтер-офицер поднял их и приказал начинать.

Вместе со всеми Достоевский взялся было выламывать доски, таскать бревна. Но за что бы он ни брался, всюду оказывался лишним, всюду мешал, отовсюду его гнали прочь. Каждый арестант считал своим долгом прикрикнуть на него и выбранить. А один из них прямо сказал ему:

— Куда лезете, ступайте прочь! Что соваться, куда не спрашивают.

Однако стоило ему отойти в сторону, как они закричали:

— Вон каких надавали работников: чего с ними сделаешь?

Достоевский понимал, что все это делалось нарочно, с целью как-то задеть его, унизить, подчеркнуть свое к нему презрение. Это очень огорчало, но он чувствовал себя совершенно бессильным что-либо сделать. Он надеялся, что пройдет время, и обитатели острога в конце концов по-другому станут относиться к нему.

Каждый день он отправлялся на работу. Сначала Достоевский, никогда не занимавшийся тяжелым физическим трудом, так уставал, что чуть не падал с ног от усталости. Но постепенно он все больше и больше втягивался в работу. Она не казалась ему уже такой утомительной и даже скрашивала однообразное течение острожной жизни, помогала отвлечься от тяжелых раздумий, да и физически укрепляла его.

Зимой работы было немного. Обычно арестанты расчищали снег на улицах города. Иногда их посылали в инженерные мастерские, где они выполняли самую различную работу: вертели громадное точильное колесо, таскали уголь, раздували горн и т. п.

Одной из наиболее легких в остроге считалась работа «при алебастре». Заведовали ею довольно культурные и образованные инженеры Омского гарнизона, которые сочувственно относились к политическим

заключенным. По их инициативе на работу «при алебастре» часто назначали Достоевского и других арестантов из дворян. Но высшее начальство строго следило, чтобы политическим не делали никаких поблажек, и при всем своем желании инженеры далеко не всегда могли проявить к ним великодушие.

Когда же Достоевскому случалось попадать в партию для работы «при алебастре», он ранним утром вместе со своими товарищами в сопровождении конвойных солдат отправлялся к небольшому бараку на берегу Иртыша. Там под руководством старшего мастера Алмазова они растапливали печь и укладывали в нее алебастр. Потом наступала небольшая передышка. Арестанты выходили из барака и усаживались у порога.

Перед ними на противоположном берегу Иртыша, насколько хватал глаз, раскинула свои бесконечные просторы степь. Безбрежная ширь звала, манила, и бедные узники смотрели на нее восхищенными и в то же время грустными глазами. В такие минуты не хотелось говорить, и они сидели притихшие, потрясенные созерцанием величественной картины привольной степи. Из глубокой задумчивости их выводил голос Алмазова:

—Пора за работу!

Перегорелый алебастр арестанты ссыпали в ящики и разбивали тяжелыми кувалдами. Оцепенение, навеянное видом степи, постепенно проходило, и осужденные, не прекращая работы, мало-помалу начинали говорить друг с другом. Чаще всего Достоевский беседовал с осужденными поляками. Сначала разговор касался по большей части острожных новостей, потом вспоминали свою прежнюю жизнь на воле, а затем незаметно переходили к политическим вопросам. И вот тут-то они никогда не находили общего языка и спорили чуть ли не до ссоры.

Поляки с ненавистью говорили о России, которая принесла их родине столько мук и страданий. Россия в их представлении была мрачной и тупой силой, безжалостно подавляющей любое проявление свободолюбия и прогресса. Но при этом они забывали, что

Россия — это не только русское самодержавие, чья захватническая политика явилась причиной бедствий Польши, а прежде всего великий русский народ, который никогда не отличался агрессивными устремлениями и никогда не питал враждебных чувств к польскому народу. Ограниченные, а нередко просто ошибочные взгляды польских революционеров на развитие истории мешали им разобраться в этом. Для них Россия и самодержавие были понятиями, мало чем отличающимися друг от друга.

Достоевский горячо и страстно возражал полякам. Писатель стремился доказать им, что они неправы в своих суждениях о России и заблуждаются относительно ее истинной роли в системе других государств. Однако аргументы Достоевского далеко не всегда звучали убедительно. Так, писатель утверждал, что Россию ожидает великое будущее и что она укажет путь развития другим странам Запада. Но каким будет это будущее, по какому пути поведет Россия другие государства, он и сам не представлял себе достаточно ясно. В недавнем прошлом все это связывалось Достоевским с коренной перестройкой всего общественного уклада страны и социалистическими преобразованиями в ней. Теперь же, разочаровавшийся в идеях социалистов-утопистов, писатель становится очень противоречивым в своих высказываниях. В это время он все чаще и чаще обращает свой взгляд к религии, стремясь найти в ней ответы на многие мучившие его вопросы. Достоевскому начинает казаться, что идеи православного христианства, которые, в отличие от католицизма, по его мнению, являлись истинными, могут помочь человечеству выйти на путь всеобщего объединения и братства. Но как это должно произойти, писатель и сам еще не знал. Твердо был уверен только в том, что не путем насилия, не путем борьбы. Вместе с тем в сознании Достоевского было еще очень свежо недавнее прошлое, его искреннее увлечение социалистическими идеями, которые он теперь мучительно пересматривал, идеи, которые тоже сулили человечеству мир и братство. Но за это братство надо было бороться, а борьба, насилие в теперешнем

представлении писателя ни к чему привести не могли. Они, по его убеждению, только усугубили бы и без того безмерные страдания человечества. И не к борьбе, а к отказу от нее хотелось теперь звать людей Достоевскому. Подобные взгляды свидетельствовали о том, что писатель неуклонно скатывался на позиции проповеди смирения и покорности, хотя в период пребывания на каторге и в первые годы ссылки эти мысли не всегда связывались им с проповедью **политического** смирения и прославлением страдания, в которых должен очищаться человек. К этому он придет позднее, в начале 60-х годов.

Таким образом, защищая Россию от необоснованных обвинений со стороны поляков, Достоевский сам выдвигал глубоко ошибочные положения. Он был совершенно прав, когда высказывал мысли о том, что придет время, и Россия станет великим государством и укажет другим странам путь ко всеобщему счастью, но заблуждался, утверждая, что это произойдет не в результате торжества социалистических идей, не в результате борьбы с существующим злом, а в результате отказа от нее, в результате проповеди идей православной церкви.

...Зимний день клонился к вечеру. Вместе с другими арестантскими партиями возвращались в острог и «алебастровцы», приветствуемые насмешливыми восклицаниями каторжников:

— А вот и «алебастровцы»! Как вам сегодня работалось?

* * *

После поверки арестанты расходились по казармам. Наступали длинные зимние вечера, во время которых обитатели острога были предоставлены самим себе. Многие сразу же принимались за дело: доставали работу, устраивались поближе к свету и начинали что-нибудь мастерить, шить, вырезать, строгать. Другие, не находя чем заняться, слонялись по казармам острога, ссорились, ругались. Иногда кто-нибудь из арестантов вдруг запевал тоскливую, хватающую за душу песню:

Не увидит взор мой той страны,
В которой я рожден;
Терпеть мученья без вины
Навек я осужден.
На кровле филин прокричит —
Раздастся по лесам.
Заноет сердце, загрустит,
Меня не будет там.

К одинокому голосу присоединялись все новые и новые голоса. И скоро песня целиком заполняла тесное помещение казармы. Слушать ее было невыносимо грустно, и на глазах невольно выступали слезы.

Едва заканчивалась поверка, Достоевский стремился уединиться. Иногда он совершал небольшие прогулки где-нибудь в отдаленном уголке острога, где меньше встречалось людей, а чаще устраивался на нарах и читал евангелие, подаренное ему в Тобольске женами декабристов. С собой на каторгу он привез еще библию, которую ему прислал в крепость брат, но ее вскоре украл один из арестантов.

Евангелие было единственной книгой, которую разрешалось иметь в остроге. Снова и снова перечитывал писатель страницы этой ставшей ему дорогой книги, стараясь найти там ответы на мучившие его вопросы, найти утешение, поддержку, разрешить сомнения, все чаще и чаще возникавшие у него. Много лет спустя писатель говорил, что, читая по необходимости одно евангелие, «он яснее и глужбе смог понять смысл христианства»[63].

К религии Достоевский обратился не без внутреннего сопротивления. Сомнения и колебания не покидают его ни на минуту. Разуверившись в идеях социализма, писатель неустанно занят поисками новых идеалов, нового, говоря его словами, «символа веры». Без него он не может и не хочет жить. Наблюдая за жизнью каторжников, за этими шельмованными и отвергнутыми обществом людьми, Достоевский пришел к глубоко неправильному выводу о том, что религиозность является основой подлинно народного мировоззрения. Еще совсем недавно он был в какой-то мере склонен согласиться с Белинским, который в своем знаменитом письме к Гоголю говорил о русском наро-

де, что «это по натуре глубоко атеистический народ», что «в нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности»[64].

Теперь Достоевский стремился убедить себя в обратном. Он не только поверил в религиозность русского народа, но и сам хочет сделаться глубоко верующим человеком. Религия, по его мысли, должна помочь ему понять народ, сблизиться и уравняться с ним. Кроме того, обращение к религии в какой-то мере оправдывало в глазах Достоевского его измену прежним своим убеждениям.

Непрестанные раздумья привели в конце концов к тому, что Достоевский выработал свой, особый «символ веры», который сложился, по его словам, в те минуты, когда он был «совершенно спокоен» и чувствовал, что «любит и любим другими».

Сущность этого символа сводилась к следующему: «верить, что нет ничего прекраснее, глужбе, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и не может быть. Мало того, если бы мне доказали, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной»[65].

К образу Христа Достоевский обратился не случайно. В глазах писателя он был идеалом всепрощающего и смиренного человека, которому по мере сил и возможностей следовало подражать. Страстно желая найти в себе «силы переносить и прощать», Достоевский заставляет себя поверить в этот во многом выдуманный им самим образ. Ему страшно бывает подумать, что вера в Христа у него может вдруг угаснуть или он, как бывало и прежде, усомнится в своем новом «символе веры». Поэтому Достоевский не хочет ни при каких условиях расставаться с Христом, хочет остаться с ним даже в том случае, если бы оказалось, что его прежние убеждения, его вера в идеи утопического социализма были истинными, а учение Христа ложно и находится вне «истины».

Достоевский твердо решил порвать с прошлым и

никогда не возвращаться к нему. Но где-то в глубине души писатель еще сомневался в том, правильно ли он поступает. Поэтому Достоевский стремится заглушить угрызения совести и свои сомнения желанием как можно скорее утвердиться в новой вере. «Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем больше во мне доводов противных!»[66] — восклицал он.

Но до конца утвердиться в своей новой вере Достоевский не смог. «Я дитя века, дитя неверия и сомнения»[67],—говорил писатель о себе. И это неверие и сомнение он пронес через всю жизнь, постоянно в чем-то разочаровываясь и в чем-то искренне и глубоко убеждаясь. Особенно сильны были колебания и сомнения Достоевского в период его жизни в Сибири, когда еще не изгладились в памяти недавние увлечения социалистическими идеями, когда писатель заставлял себя утвердиться в «новой» вере, поверить в Христа, хотя и сам еще далеко не был уверен в правильности избранного им пути.

* * *

Став узником Омского острога, Достоевский часто испытывал жгучую необходимость побыть одному, наедине с самим собой, со своими думами и мыслями. Вынужденное общее сожительство приносило иной раз муки еще более страшные, нежели тяжелый, выматывающий последние силы каторжный труд.

Работать под присмотром конвойных солдат и надсмотрщиков, отдыхать под настороженными и враждебными взглядами сотен глаз — все это выбивало из колеи, мешало сосредоточиться, мешало думать, жить. «Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе... сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно»[68], — рассказывал Достоевский по выходе из каторги.

Единственное место, куда мог уйти писатель и хоть несколько минут побыть в одиночестве, находилось позади казарм, около самого забора. В свободное от работы время он любил прогуливаться здесь. Иногда Достоевский останавливался и с тоской глядел сквозь щели забора туда, на волю, где не было ни конвойных солдат, ни караульных офицеров. Там была свобода. Но напрасно тянулся он. Сквозь щели ничего, кроме высокого земляного вала, зимой запорошенного снегом, а летом поросшего бурьяном, да кусочка неба, не было видно. Но и на него Достоевский готов был часами смотреть не отрываясь. Ведь небо там было иное, не похожее на то, которое повисло над острогом. Оно было свободным и таким прекрасным! Он готов был отдать все, лишь бы очутиться под ним, полной грудью вдохнуть в себя его вольный воздух.

Достоевский полюбил этот уголок острога. Здесь никто не мешал ему думать, мечтать. Было у него и любимое занятие. Как-то еще в первые дни своей жизни на каторге он решил посчитать количество столбов, из которых состоял забор в этом месте, — палей. Их оказалось около полутора тысяч. Приблизительно столько же дней предстояло ему провести в «мертвом доме». Тогда он решил составить из них своеобразный календарь: каждую палю стал считать за один день, а количество оставшихся столбов наглядно говорило ему, сколько осталось еще пробыть в мрачных стенах каторги.

Медленно тянулось время, медленно уменьшалось количество столбов, далека была долгожданная свобода.

* * *

Во время пребывания петрашевцев на каторге в Омск прибыли шесть гардемаринов* Морского корпуса, разжалованных «за дерзостное поведение». Известно, что некоторые из них в свое время изредка

---

* Гардемарины А. Лихарев, С. Левшин, Хованский и другие были разжалованы и сосланы в Сибирь за подачу жалобы о плохом питании в корпусе.

присутствовали на заседаниях кружка Петрашевского и были людьми, не чуждыми свободолюбивых воззрений. Поэтому они с большим сочувствием отнеслись к Достоевскому и Дурову и приняли в их судьбе самое живейшее участие. Гардемарины, или, как их называли на каторге, «морячки», часто исполняли обязанности караульных начальников в остроге и использовали это для того, чтобы оставить Достоевского и Дурова для внутренних работ по уборке казарм, расчистке тюремного двора от снега и т. п. Когда поблизости не было никого из начальства, они вызывали петрашевцев в караульное помещение и сообщали им городские новости и известия, полученные из России, передавали продукты, деньги. Но самую большую радость доставляли осужденным петрашевцам журналы и книги, которые иногда приносили «морячки». Время, проведенное за чтением, было для Достоевского самым счастливым. Он с наслаждением перечитал «Посмертные записки Пиквикского клуба» горячо любимого им Диккенса и с удовольствием познакомился с его новым романом «Дэвид Копперфилд».

Порядки, господствовавшие на каторге, заставляли гардемаринов всегда быть начеку, и если в остроге появлялось начальство, они немедленно отправляли петрашевцев под конвоем на работу. Некоторые офицеры знали об этих поблажках, которые «морячки» делали Достоевскому и Дурову, но не препятствовали, а лишь советовали быть осторожнее.

Надо сказать, что Федор Михайлович в обществе гардемаринов держал себя очень сдержанно. По их воспоминаниям, он всегда был молчалив и угрюм, нередко отказывался даже от приглашения присесть, отдохнуть и уступал только настоятельным просьбам. «Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темнокрасными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе, — рассказывали гардемарины, — ...а в интимные разговоры и сердечные излияния почти никогда не пускался. Всякое изъявление сочувствия принимал недоверчиво, как

будто подозревал скрытую в том неблагоприятную для себя цель»[69].

Это объяснялось тем, что Федор Михайлович очень опасался того, как бы знаки внимания и попустительство со стороны «морячков» по отношению к нему каким-нибудь образом не дошли до начальства и не усугубили бы его и без того тяжелое положение.

«Морячки», конечно, понимали это и относились к Достоевскому с большим тактом, старались не задевать его самолюбия и не слишком навязывать ему свое расположение. Гораздо более тесные и даже дружеские отношения установились у них с Дуровым, который располагал к себе и своим открытым характером и добрым, отзывчивым сердцем.

Немаловажную услугу оказал Достоевскому однажды один из гардемаринов. Оставленный для работы в остроге, писатель находился в своей казарме. Закончив уборку, он прилег на нары. Совершенно неожиданно в острог нагрянул плац-майор Кривцов.

— Это что такое? — закричал он, увидя Федора Михайловича. — Почему он не на работе?

— Болен, ваше высокоблагородие, — отвечал находившийся в карауле за начальника «морячок», — с ним был припадок падучей болезни.

— Вздор! Я знаю, что вы потакаете им! ... кордегардию его!.. Розог![70]

Но пока Достоевского стащили с нар, пока отвели в кордегардию, «морячок» успел послать вестового к коменданту крепости и доложить о происшедшем. Полковник де Граве, тотчас же приехавший, отменил распоряжение плац-майора, а ему самому сделал публичный выговор.

В судьбе Достоевского принимали самое горячее участие многие люди. Особенно много для него сделал К. Иванов, служивший тогда адъютантом корпусного инженера генерала Борисовского. Иванов был женат на дочери декабриста Анненкова, с которой писатель познакомился еще во время пребывания в Тобольске. Через своего генерала, который тоже очень сочувственно относился к петрашевцам, Иванов часто делал так, что Достоевского освобождали от тяжелых работ,

оставляли в остроге или посылали в инженерные мастерские, что считалось у арестантов чуть ли не отдыхом. Он также, когда это было возможно, снабжал Достоевского деньгами и даже книгами, хотя писатель далеко не всегда имел возможность их читать.

* * *

Однажды над Омском пронесся снежный ураган, бушевавший три дня. Слепила пурга, ветер бесновался на улицах города, срывал крыши, вырывал с корнем деревья. Перепуганные обыватели боялись показаться на улицах, и плохо пришлось тем, у кого не было достаточных запасов продуктов и топлива. Жизнь в городе замерла. Только часовые у острога, закутавшись в меховые тулупы, двигались вдоль крепостной стены и маячили около ворот тюрьмы.

В эти дни арестантов на работу не посылали, и они занимались своими делами. Но как только утихла снежная буря и проглянуло солнце, весь острог подняли на ноги и вывели на улицы города. Вооруженные лопатами, кирками, ломами, арестанты расчищали улицы, откапывали дома, разбивали ледяные горы, грузили глыбы снега и льда на сани и увозили прочь. Это был невыносимо тяжелый труд. Арестантам не давали ни минуты отдыха. То и дело в воздухе раздавалось:

— Скорей, скорей, скорей!

Наблюдавшие за работами надзиратели «поощряли» замешкавшихся арестантов ударами нагаек. Люди изнемогали от усталости и еле передвигали ноги, а отовсюду по-прежнему неслись крики конвойных солдат:

— Пошевеливайся! Торопись! Скорей!

Особенно трудно приходилось политическим заключенным. Не привыкшие к тяжелому физическому труду, они с трудом двигались, но в то же время старались не отставать от других.

Только в сумерки, обессиленные от нечеловеческого труда, арестанты вернулись в острог. Голодные, продрогшие до мозга костей, угрюмые и озлобленные, расходились они по казармам. Шатаясь от усталости,

Достоевский подошел к своим нарам. Но ни сесть, ни лечь он не успел. Перед глазами пошли какие-то темные круги, все вокруг куда-то поплыло, закружилось. Федор Михайлович хотел что-то сказать, но из груди его вырвалось лишь несколько отрывистых звуков. Он зашатался и со стоном рухнул на пол. Когда товарищи подняли его, он был без сознания.

В полуверсте от крепости, на одной из самых грязных улиц Бутырского форштадта стояло приземистое одноэтажное здание, выкрашенное яркой желтой краской. Это был Омский военный госпиталь, в котором две комнаты отвели под арестантские палаты. Сюда помещали находящихся под следствием, заключенных из острога и городской тюрьмы. Арестантские палаты, длинные, с низкими потолками, походили на тюремные камеры. Они почти всегда были переполнены, и очень часто приходилось сдвигать кровати, чтобы втиснуть дополнительно еще три-четыре койки. Вот сюда и поместили больного Достоевского

Медленно возвращались к писателю силы после перенесенного воспаления легких. Жизнь в госпитале показалась ему спокойной и тихой. По большей части здесь находились люди тяжело больные, малоразговорчивые. Они часами лежали, не шевелясь, глядя в потолок, и не подавали никаких признаков жизни. Редко-редко кто из арестантов вступал в разговор со своим соседом. Больничная тишина благотворно действовала на Достоевского. Здесь никто не мешал ему думать, никто не тревожил его, никому до него не было дела. Достоевский любил этот покой, когда все окружающее вдруг начинало растворяться и постепенно исчезало в дремотно-мечтательной дымке, когда вместо Сибири, каторги, клейменых лиц арестантов перед ним возникал такой милый его сердцу Петербург, и он мысленно переносился в квартиру брата, видел себя в кругу его семьи, в кругу друзей и знакомых. Особенно часто грезил он в послеобеденные часы, когда большинство больных спали или тихо лежали по своим койкам.

Но далеко не все было привлекательно в больничной жизни. Прежде всего тяготила невозможность

двигаться. Среди тесно, почти вплотную друг к другу поставленных коек едва можно было пройти. Целые дни приходилось проводить на кровати. И это в помещении, которое никогда не проветривалось, в котором всегда стоял удушливый запах гнойных испарений и всевозможных лекарств! А сколько неприятностей доставляли больным насекомые! Полчища их буквально кишели в деревянных кроватях и белье. Но со всем этим арестанты мирились. Ведь здесь не нужно было работать, здесь никто не стоял у них над душой, да и кормили несколько лучше. Поэтому госпиталь считался своего рода тихой обителью, где можно было отдохнуть, набраться сил.

Медленно, однообразно тянулись дни. Тихая, размеренная жизнь арестантских палат нарушалась лишь утренним обходом врача да прибытием новых больных.

Приход каждого нового лица в палате всегда вызывал некоторое оживление. Появлялась возможность хоть ненадолго разогнать томящую скуку, царившую в госпитале. Вновь прибывшего расспрашивали, откуда он родом, о том, что делается на воле, затаив дыхание, слушали острожные легенды и рассказы.

А иногда вечером приводили наказанных шпицрутенами. Было от чего ужаснуться, глядя на вздувшиеся темно-багровые спины, на которых кровавыми лоскутами висела кожа.

Федора Михайловича всегда поражала выдержка и сила воли прошедших наказание. Он. ни разу не слышал из их уст ни жалоб, ни стонов.

Однажды, по свидетельству одного из очевидцев, когда в госпиталь прямо с плаца принесли забитого чуть ли не до смерти арестанта, Достоевский, потрясенный, весь дрожа, умоляющим голосом просил фельдшеров:

— Детушки, детушки! Родные! Спасите его... спасите несчастного...

Спать больные укладывались рано. Тушили свечи, и только у самой двери тускло горел ночник. В эти долгие зимние вечера, когда сон как будто кто-то нарочно прогонял прочь, писатель любил вспоминать прошлое.

Там, в острожной камере, подчас трудно было сосредоточиться из-за шума, вечно царящего вокруг, не умолкавшего даже глубокой ночью. Здесь же ничто не мешало спокойному течению мыслей.

«...Я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова, — рассказывал Достоевский много лет спустя в «Дневнике писателя». — Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя»[71]. Так продолжался тот процесс пересмотра прежних взглядов и убеждений, который начался у Достоевского еще в сырых казематах Петропавловской крепости. Процесс этот протекал беспрерывно на протяжении всех четырех лет острожной жизни, но до конца так и не был завершен ни на каторге, ни в ссылке.

Шаг за шагом припоминал писатель всю свою жизнь. Перед глазами проходили картины раннего детства: небольшие уютные комнаты во флигеле больницы для бедных на Божедомке, где жила семья лекаря Достоевского, тихие вечера, когда вся семья собиралась в гостиной, когда он, маленький мальчик, с восторгом слушал божественную музыку стихов Пушкина, полные искрящегося юмора повести Гоголя. Откуда-то, как будто из тумана, выплывали дорогие черты матери, женщины мягкой, доброй, отзывчивой. Реже вспоминал он об отце. Тяжело было думать о человеке, ставшем жертвой собственной необузданной жестокости *.

Иногда ему казалось, что слышит музыку, которая в те далекие времена звучала в их скромной квартире. Он видел хрупкую фигуру матери, склонив-

* Отец писателя М. А. Достоевский был убит своими крепостными крестьянами.

шуюся над фортепьяно, своих братьев и сестер, с упоением слушающих волшебные звуки. Воспоминания эти были приятны, от них сладко щемило сердце, волна тепла захватывала грудь, и невольные слезы набегали на глаза.

Потом он переносился в Петербург, в Михайловский замок, где провел четыре года, постигая трудное и ставшее в конце концов ненужным инженерное искусство. До мельчайших деталей помнил он скромную комнату на Владимирской, где жил вместе с Григоровичем, незабвенные минуты творческого вдохновенья, когда рождались страницы «Бедных людей». Как о чем-то самом дорогом и сокровенном вспоминал он ту белую, светлую, как день, петербургскую ночь, когда Некрасов и Григорович, только что прочитав повесть «Бедные люди», подняли его с постели и со слезами на глазах поздравили его как нового, выдающегося русского писателя. Он припомнил и тот день, когда впервые встретился с Белинским, который сказал ему: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» Как ему хотелось тогда оправдать слова великого критика! «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни, — говорил Достоевский позднее. — Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом»[72].

Ему припомнились собрания кружка Белинского, горячие споры о политике, о философии, о литературе, о социальных преобразованиях, в которых так нуждалась Россия, о крепостном праве, и, наконец, свой разрыв с критиком и его друзьями. Потом в памяти возникли многолюдные «пятницы» Петрашевского, кружок Дурова — Спешнева, пламенные речи против тирании и произвола, против угнетения. И дурным тяжелым сном казались ему арест, крепостной каземат, допросы следственной комиссии, страшные минуты ожидания казни, бесконечно длинная дорога сюда, в Сибирь.

Оглядываясь на прошлое, Федор Михайлович не находил в своей жизни того, чего можно было бы стыдиться. Правда, прежние мысли и убеждения

казались теперь ошибочными, какими-то призраками, не имеющими под собой почвы, но, в конце концов, кто в молодости не заблуждается!

О прошедшем Достоевский судил теперь иначе, нежели раньше. Многое для него как будто заново открылось еще в Петропавловской крепости, многое, как ему показалось, он понял здесь, на каторге. В частности, он все больше и больше убеждался в том, что простой народ и образованное русское общество разделяет глубокая непроходимая пропасть, что они страшно далеки друг от друга. Эти мысли, казалось, подтверждались той ненавистью, с которой каторжники относились к дворянам и особенно к политическим. Но он не понимал, что эта ненависть была вполне закономерна и объяснима. Ведь обитатели острога в массе своей не знали, в чем сущность преступления политических заключенных, за которые те пострадали. Им и в голову не приходило, что они томятся здесь за стремление помочь простым людям, за то, что хотели избавить их от рабства и насилия. Сами же политические ни о себе, ни о своей деятельности никогда ничего не говорили, и поэтому обитатели острога видели в них только представителей другого, враждебного им класса.

Видя глубоко неприязненное отношение к себе каторжников, Достоевский сделал вывод не только о разобщенности простых людей и образованного общества, но и о ненужности борьбы, которую вели передовые люди того времени за коренное общественное переустройство страны. Достоевскому теперь казалось, что ни Белинский, ни он сам, ни его товарищи по кружку Петрашевского по существу не знали ни народа, ни его жизни, ни его надежд и чаяний, а поэтому все их усилия были заранее обречены на провал. Он почувствовал себя слабым и беспомощным перед необъятной громадой народа. И постепенно у него зарождаются новые мысли о путях преодоления разрыва между народом и образованной частью русского общества. На каторге Достоевский сделал глубоко неверный вывод о том, что народные массы нельзя поднять до своего уровня, до уровня передо-

вой русской интеллигенции. А раз так, то нужно всем образованным людям опуститься до уровня понятий народа. Он пришел к выводу, что надо не учить народ, а учиться у него. Учиться всему, без всякого исключения. Это означало в тогдашних условиях учиться предрассудкам, темноте, невежеству. В «Записках из мертвого дома» он так сформулировал свою мысль: «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться»[73].

Так постепенно начинает вырисовываться идея о путях соединения образованных классов русского общества с народом, в результате чего, по мысли писателя, должен получиться некий синтез, объединяющий образованное и исконно «почвенное» (свойственное только простым людям) начала. Эти мысли впоследствии легли в основу глубоко реакционной теории «почвенничества», которая в окончательном виде оформилось у Достоевского в начале 60-х годов.

* * *

Зима подходила к концу. Все чаще и чаще ветер приносил новые запахи, запахи приближающейся весны. Солнце грело с каждым днем все теплее, светило ярче и подолгу не уходило за горизонт. Кое-где показались уже небольшие проталины. Повсюду сквозь толщу снега пробивались маленькие ручейки, которые с каждым днем становились все звонче и говорливее. Приближение теплых дней чувствовалось во всем: и в пробуждающейся после долгой зимней спячки природе, и в редком еще, но с каждым днем все усиливающемся гомоне птиц, и, наконец, в людях, которые как-то совсем иначе, тревожно и взволнованно, вдруг взглянули вокруг себя, почувствовали, что их душу переполняет какое-то неведомое, непонятное чувство. Достоевский видел, как часто арестанты, позабыв о работе, вдруг устремляли вдаль, туда, где тянулась привольная бескрайняя степь, задумчивые взгляды.

Да и самого Достоевского волновала картина стряхивающей с себя оцепенение природы. «В тепле,

среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжеле становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля...»[74] — вспоминал он. С жадностью смотрел Федор Михайлович на необозримые просторы, раскинувшиеся за деревянным частоколом острога, как ребенок, радовался первым зеленым былинкам, появившимся на пригретых солнцем откосах крепостного вала. Как никогда грустно было ему в эти теплые погожие весенние дни. Особенно тяжело было вечерами, когда в душной, давящей своим низким потолком казарме он оказывался один среди людей, которых никак не мог понять. В такие дни острог становился Достоевскому особенно ненавистен, и он стремился попасть в госпиталь, чтобы там хоть на короткое время побыть в тишине, наедине со своими мыслями.

Вместе с приходом теплых дней начались и летние работы, которые оказались гораздо труднее зимних. Арестантов заставляли копать рвы, насыпать дамбы, класть кирпичные стены и т. д. Вот что рассказывал в «Воспоминаниях каторжника» польский революционер Ш. Токаржевский о работах, которые должны были предохранить Омск от наводнения: «Выходили мы из острога ранним утром и работали... без передышки до захода солнца, не возвращаясь в крепость на обед, так как это отняло бы слишком много времени из-за отдаленности, да к тому же надо было переправляться на лодке через Иртыш. Обед нам заменяли кусок хлеба и вода»[75].

Но самой тяжелой считалась работа на кирпичном заводе, который находился в четырех километрах от острога. Рано утром, едва солнце вставало над горизонтом, партия арестантов человек в 50 под усиленным конвоем отправлялась на завод. В эту партию подбирали заключенных, не имеющих какой-либо определенной специальности, т. е. чернорабочих (к ним относился и Достоевский). Вместе с другими арестантами Федор Михайлович должен был «накопать глины, на тачках привезти ее в сарай и выделать, т. е. утоптать ногами, закованными в кан-

далы». Кроме того, «нужно было натаскать воды на горку высотою в сто локтей, и выделать из этой глины до пятисот штук кирпича в день»[76].

Об этой страшной изнурительной работе рассказал в книге «Семь лет каторги» Ш. Токаржевский. Сам он однажды настолько надорвался на заводе, что потерял сознание и, падая, ударился головой о тачку и пролежал несколько часов. Плац-майор Кривцов, застав его в таком виде, приказал наказать больного розгами, и только благодаря вмешательству других каторжников Токаржевский был отправлен в госпиталь.

Проработав на заводе несколько дней, Достоевский почувствовал, что силы его иссякают, что еще немного времени и с ним случится то же самое, что и с Токаржевским.

Но, к счастью, его вскоре вновь послали обжигать алебастр, а потом перевели подносчиком кирпичей на строительство казармы. Кирпичи надо было таскать с берега Иртыша, через крепостной вал, на расстояние не менее ста пятидесяти метров. Тяжелые, весом почти в пять килограммов каждый, они страшным грузом ложились на спину, пригибали к земле, и Достоевский сначала с трудом носил по восемь кирпичей. Вечером он возвращался в казарму совершенно разбитым: болела спина, горели натертые веревкой плечи, дрожали ноги. Но со временем Федор Михайлович полюбил эту работу. Она укрепляла его физически, да и сознание собственной силы помогало ему переносить многие тяготы острожной жизни. Спустя некоторое время он носил уже по двенадцать, а затем даже по пятнадцать кирпичей.

Эта работа нравилась Достоевскому еще и потому, что производилась она на берегу Иртыша, с которого открывался чудесный вид на степные дали, где не видно было ненавистных стен острога. «Смотришь, бывало, в этот необъятный пустынный простор, — рассказывал писатель в «Записках из мертвого дома», — точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе,

и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную, окуренную юрту какого-нибудь байнуша; разглядишь дымок юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет со своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой...»[77]

Возвратившись после работы в острог, арестанты в ожидании, когда их запрут в казармах, толпами бродили по двору, о чем-то спорили, ругались, обсуждали острожные новости. Это время Достоевский любил проводить в одиночестве, в своем любимом уголке за казармой около бревенчатого забора. Федор Михайлович наслаждался вечерней прохладой, следил за первыми зажигающимися звездами, которые вспыхивали то над головой, то у самого горизонта. В сгущающихся сумерках их становилось все больше и больше. И вскоре все небо как будто кто-то закрывал темно-синим златотканным плащом. Страшно было потом возвращаться в душную, пропитанную зловонием казарму. Ведь ночь не сулила ни отдыха, ни покоя. Едва Достоевский опускался на нары, тысячи насекомых набрасывались на него. Долго не мог он свыкнуться с этим. По целым ночам ворочался с боку на бок и только под утро удавалось ненадолго сомкнуть веки.

Но едва первые лучи солнца начинали золотить землю, безжалостный треск барабана снова поднимал с нар. И так каждый день, месяц, год...

«Господи, когда же это кончится! — с тоской думал Достоевский. — Когда же наступит свобода? Когда?!»

* * *

Прошло лето. Наступила холодная дождливая осень. Небо заволокло низкими, мчавшимися над самой землей тучами. Почти не переставая шел дождь. Но каждый день в любую погоду арестантов маленькими группами и большими партиями гнали на рабо-

ту. С трудом передвигая ноги по раскисшей земле, брели они по улицам города, сопровождаемые сочувственными взглядами горожан. Навсегда в памяти Достоевского остался тот день, когда однажды на улице к нему подбежала маленькая девочка и, протягивая четверть копейки, сказала: «На, несчастный, возьми Христа ради копеечку». В эту минуту ему как-то особенно стало жаль самого себя. Сдерживая рыдания, он торопливо погладил девочку по голове и поспешил догнать своих товарищей. Эту маленькую медную монетку Достоевский долго берег у себя. Спустя много лет он часто вспоминал «про эту копеечку и жалел, что не удалось ее сохранить»[78].

В один из холодных осенних дней петрашевцев вместе с другими арестантами послали разбирать на реке старую барку. С Иртыша дул резкий, пронизывающий до костей ветер. С неба беспрерывно сыпал мелкий и частый дождик. Арестанты промокли до нитки, да к тому же работать пришлось стоя по колено в начавшей уже кое-где подергиваться тонким льдом воде.

Петрашевцы жестоко простудились. Особенно тяжело страдал Дуров. У него открылся ревматизм, который не давал ему иной раз по целым ночам сомкнуть глаз. Здоровье его день ото дня становилось хуже. Достоевский с ужасом видел, как он буквально на глазах таял, как свечка. Дуров так и не оправился. Вошел он в острог «молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой»[79].

Не мог похвастаться здоровьем и Федор Михайлович. Пребывание в сырых казематах Петропавловской крепости, невыносимо тяжелая каторжная работа, нечеловеческие условия жизни в остроге — все это давало себя знать. Особенно изнуряли писателя припадки падучей болезни, которая развилась у него на каторге. После них он в течение нескольких дней чувствовал себя совершенно разбитым.

Теперь Достоевский был довольно частым гостем в госпитале. Этому в немалой степени содействовали врачи, с искренней симпатией относившиеся к писа-

телю. Особенно симпатизировал ему старший врач госпиталя Троицкий. Как только Достоевский чувствовал хоть легкое недомогание, Троицкий забирал его в госпиталь и держал, сколько позволяла осторожность. Когда в арестантской палате были свободные места, он сообщал Федору Михайловичу о том, что тот может прийти и сделать небольшую передышку, т. е. полежать две-три недели, отдохнуть, собраться с силами. Часто, как только была возможность, жена доктора посылала ему обед и иногда даже вино. Но особенно дорого для писателя было то, что Троицкий изредка давал ему возможность читать. Он приносил иногда книги, но чаще французскую газету «Le Nord», которую выписывал.

Надо сказать, что старший доктор хорошо относился ко всем больным, находившимся в арестантских палатах. «Он всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово»[80], — рассказывал Достоевский.

Внимательное и чуткое отношение Троицкого раздражало ординатора Кр-ского, который сам метил на место старшего врача. Он написал донос в Петербург, где сообщал о беспорядках, якобы царивших в госпитале, и обвинил Троицкого «в неуместной снисходительности и потворстве политическим преступникам». Для расследования доноса из Тобольска прибыл советник уголовной палаты барон Шеллинг, который очень ретиво взялся за дело: производил обыски, учинял допросы, устраивал очные ставки. Но обнаружить ему так ничего и не удалось. Ни арестанты, ни острожное начальство ни единым словом не скомпрометировали Троицкого. Наоборот, администрация прилагала все усилия для того, чтобы сбить следователя с толку и чинила ему всякие препятствия.

В числе других арестантов на допрос к приезжему ревизору был вызван и Достоевский. На вопрос о том, не писал ли он чего в остроге или в то время, когда находился в госпитале, писатель ответил:

— Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю.

— Где же эти материалы находятся?

— У меня в голове, — просто ответил Достоевский.

Допрошенный вслед за ним Дуров не преминул еще более едко заметить:

— Зачем писать, когда мы, поэты, можем петь. Петь приятнее, чем писать[81].

Незадачливый ревизор так и уехал ни с чем. Правда, доктору Троицкому все же объявили выговор, так сказать, для порядка, а ординатора Кр-ского перевели в другой госпиталь.

Материалы Достоевский действительно собирал.

Никогда, ни на одну минуту не забывал он своего призвания, не забывал, что он писатель, художник. Никакие физические страдания не могли сравниться с тем, что он перенес, не имея возможности писать... «Сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать!»[82] — говорил Достоевский вскоре после выхода из острога. Но внутренняя работа не прекращалась ни на одно мгновение. Бесчисленные планы повестей, романов один за другим возникали в его творческом воображении. Яркие образы бесчисленной толпой, как будто наяву, представали перед ним. Он говорил с ними, спорил, сердился, негодовал, радовался и плакал.

Огромный материал давала окружавшая Достоевского жизнь. «Сколько я вынес с каторги народных типов, характеров!.. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет»[83], — писал он своему брату.

Большой знаток жизни обездоленных бедных людей, Достоевский на каторге увидел такие страшные картины человеческого горя и страданий, о существовании которых раньше и не подозревал. Писатель внимательно вглядывался в лица окружающих его людей, прислушивался к их разговорам, стремился понять, чем они живут. Но наблюдения оставались наблюдениями. А ведь как хотелось запечатлеть на бумаге и потрясающие до глубины души картины острожного быта, и характеры арестантов, и истории, которые он слышал от них. Память не могла, конечно, удержать всего. Да на нее писатель не очень

надеялся. Неизвестно, что с ним будет дальше! Здоровье его день ото дня становилось хуже. Припадки падучей вконец выматывали и без того слабые силы. Нет, нужно было найти какой-то выход! Но какой?!

Помощь пришла совершенно неожиданно. Однажды доктор Троицкий вместе с газетами передал Федору Михайловичу несколько листков бумаги и карандаш. Трудно передать то волнение, с каким писатель взял его в руки. Наконец-то сбылась его мечта. Он может писать. А это значило жить!

Достоевский понимал, что написать какое-нибудь законченное произведение ему вряд ли удастся. Ведь работать он мог только в госпитале, куда приходил лечиться. К тому же нужно было остерегаться больничных служащих. Он отлично знал, что если кто-нибудь из начальства узнает о его занятиях, то ему не сдобровать.

Писатель на первых порах решает ограничиться сбором материалов. Он старательно записывает обороты речи, характерные для каторги, некоторые сценки острожной жизни, пословицы, поговорки, отрывки из тюремных песен и т. д. Все это послужило основой знаменитой «Сибирской тетради»* Достоевского, которую он пронес через годы каторги, солдатчины, через годы лишений, нужды и страданий.

То внимание, с каким Федор Михайлович относился ко всему, что касалось каторги, ее жизни, нравов, обычаев, наводит на мысль о том, что, еще находясь

* Создание «Сибирской тетради», хранящейся в рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, по неизвестным причинам отнесено к 1856—1860 годам, хотя характер записей свидетельствует о том, что они занесены туда Достоевским, несомненно, в годы пребывания на каторге. Интересно, что первые (171 запись) сделаны одними чернилами и одним четким и ясным почерком. Это говорит о том, что Достоевский записал их все сразу, одну за другой. Вряд ли он мог запомнить и внести в тетрадь за один раз столько записей. По всей вероятности, после выхода из каторги (а может быть, даже в конце своего пребывания в Омском остроге) писатель с имевшихся у него отдельных листочков переписал все то, что он собрал за эти годы в отдельную записную книжку, положив тем самым начало «Сибирской тетради».

в Омском остроге, он задумал написать книгу о «мертвом доме», о людях, заживо погребенных в нем.

С пожелтевших страниц «Сибирской тетради» во всей своей неприглядности встают пестрые картины жизни острога, колоритные фигуры каторжников, слышится их удивительно пестрая речь, переполненная всякого рода словечками, шутками, пословицами, а иногда и злобными ругательствами. Все это было позднее использовано Достоевским при создании одной из самых замечательных своих книг — «Записок из мертвого дома». Почти половина всех записей «Сибирской тетради» без изменений, а иногда с очень незначительной переработкой, вошла в это его произведение. И поэтому сибирскую записную книжку писателя можно в известном смысле рассматривать как первоначальные и самые ранние фрагменты «Записок из мертвого дома» *.

Материалами, собранными в «Сибирской тетради», Достоевский пользовался почти на протяжении всего своего дальнейшего творчества. Некоторые выражения, почерпнутые оттуда, можно встретить почти во всех произведениях, написанных после выхода из каторги. «Сибирская тетрадь» стала для писателя ценнейшей сокровищницей словесного материала, богатства которой не раз помогали и в создании ярких картин тюремной жизни, и в обрисовке отдельных образов, и в передаче тончайших нюансов речи огромной галереи героев, созданных им на протяжении его жизни.

* * *

Медленно тянулось время. День сменялся ночью, зима — летом. А в остроге все было по-прежнему. Каждое утро арестанты шли на работу, потом возвращались, обедали, спали—и так изо дня в день. Томительное однообразие жизни каторги лишь изредка нарушалось праздничными днями. Но они, как пра-

* Есть сведения (см. Мартьянов «В переломе века»), что Достоевский еще на каторге начал писать «Записки из мертвого дома», что у писателя видели отдельные листки ее. Вряд ли это были «Записки». Скорее всего, речь шла о листках, из которых позднее составилась «Сибирская тетрадь».

вило, не оставляли в душе Достоевского ничего, кроме тягостного чувства.

Начинались праздники торжественно и благопристойно. Арестанты чинно ходили по острогу и приветливо и ласково поздравляли друг друга с праздником. Но вот приходило время обеда, и в казармах начинался пьяный разгул. Отовсюду слышались безобразные песни, то тут, то там вспыхивали ссоры, нередко переходящие в драки, а кое-где даже обнажались ножи. Это зрелище глубоко угнетало Достоевского, и однажды, когда у него на глазах несколько арестантов набросились на своего же товарища и стали его избивать, он выбежал из казармы, охваченный злобой и отчаянием. Навстречу ему попался ссыльный поляк Мирецкий, который, увидев Достоевского, мрачно взглянул на него и трясущимися губами, едва сдерживая себя, не сказал, а как будто проскрежетал: «Je hais ces brigands!» («Я ненавижу этих бандитов!» — *франц.*). Эти слова настолько потрясли писателя, что он вернулся к себе, лег на нары и глубоко задумался. «Как, неужели и я так же ненавижу этих людей?! — мысленно воскликнул Достоевский. — Я, который с каждым днем открывал в этих шельмованных разбойниках все новые и новые черты, свидетельствовавшие о незаурядности и даже талантливости многих из них; я, день ото дня проникавшийся к своим товарищам по несчастью все большими и большими симпатиями и даже уважением! Неужели и в моем сердце гнездится такая же глубокая ненависть к этим отверженным обществом людям, с какой я только что столкнулся! Нет, этого не может быть!»

И тут память его воскресила картину далекого детства. Он вспомнил солнечный летний день в лесу и себя, совсем еще маленького мальчика. Вдруг среди глубокой тишины до его слуха отчетливо донесся крик: «Волк бежит!» Он с ужасом бросился бежать к поляне, где пахал крепостной мужик его отца Марей. Дрожа всем телом, он прижался к нему. Марей успокоил мальчика, приласкал. И вот теперь, среди пьяного угара, который охватил острог, Достоевский

как будто наяву увидел добрую и нежную улыбку этого человека, с какой он смотрел на него тогда. «...Каким глубоким и просвещенным человеческим чувством, — подумал писатель, — и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика...»[84]

Достоевский поднялся с нар и совсем другими глазами взглянул вокруг себя. «...Я вдруг почувствовал, — писал он через двадцать лет, — что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце»[85].

Отныне мужик Марей стал для Достоевского символической фигурой, олицетворяющей все самое прекрасное в человеке. Всегда писатель вспоминал Марея с его доброй, нежной и немного грустной улыбкой.

* * *

В ноябре 1851 года произошло событие, которое нарушило спокойное и тягостное течение острожной жизни. Уже несколько дней арестантские казармы гудели, как встревоженный улей. Заключенные переходили из одного помещения в другое, о чем-то спорили, что-то доказывали и даже ругались. Дело в том, что кто-то подал мысль в канун нового, 1852 года дать спектакль, и все с нетерпением ждали, как к этой затее отнесется плац-майор Кривцов. Одни арестанты утверждали, что «Васька-восьмиглазый» «нипочем не позволит», а другие, надрываясь, кричали, что он «не имеет на это никакого основания»[86]. В ожесточенных спорах прошла неделя. И вдруг по острогу пронеслось: «Позволил!»

Надо было видеть, с каким воодушевлением принялись арестанты за дело. Каждый хотел быть хоть чем-нибудь полезным. Вся каторга как будто вско-

лыхнулась. Долго говорил о том, что поставить, и наконец решили остановиться на комедии «Филатка и Мирошка — соперники», пьесе-фарсе «Кедрил-обжора», а в заключение предполагалась «Пантомима под музыку». Распределили роли и приступили к репетициям. В качестве режиссера был приглашен Федор Михайлович, который должен был дать указания, «как по театральному надо говорить и прочее»[87].

Нашлись и оформители спектакля. Польские ссыльные Бем, Богуславский и Токаржевский взялись расписать занавес и декорации. Но их надо было еще из чего-то сделать. И вот началась работа: из старых рубах, онучей и другого тряпья, пожертвованных ради такого случая арестантами, шились отдельные полотнища, из которых потом составляли занавес и декорации. Потом к работе приступили художники. На занавесе масляными красками были нарисованы пруд, беседка, деревья и даже звездное небо. Не менее ярко были расписаны и декорации.

Много хлопот доставили костюмы. Но и здесь вышли из положения. Часть сшили сами, часть достали в городе, а кое-что дали караульные офицеры.

Человек пятнадцать арестантов, занятых в представлении, каждую свободную минуту уделяли подготовке к предстоящему спектаклю. Усталые, измученные, нередко голодные, после целого дня тяжелой работы собирались они где-нибудь в укромном уголке, а чаще всего за казармой, и под руководством Достоевского разыгрывали отдельные сцены, репетировали мизансцены, словом, старались вовсю. Все это делалось втайне от других. Уж очень хотелось им всех удивить чем-то необыкновенным и неожиданным. Готовящимся представлением гордился весь острог. «Предполагалось, что слава острожного театра прогремит далеко в крепости и даже в городе, тем более, что в городе не было театра... Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. «Ведь кто знает, — думали и говорили они про себя и между собою, — пожалуй, и самое высшее начальство узнает; придут и посмотрят; увидят тогда, какие есть арестанты»[88].

Работая вместе с арестантами над подготовкой представления, Федор Михайлович увидел в них не только несчастных, отверженных обществом людей. В своих товарищах по несчастью он с удивлением и радостью обнаружил неисчерпаемую талантливость, глубину, умение ценить и тонко понимать искусство. «Сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и тяжелой доле!» — невольно думал он.

К предстоящему спектаклю была даже подготовлена афиша.

Один из арестантов на большом листе бумаги, оклеенном серебристой каймой, написал:

АФИША
ДЛЯ
ВЫСОКОБЛАГОРОДНЫХ ГОСПОД
ОФИЦЕРОВ КАРАУЛЬНЫХ
А ТАКЖЕ ДЛЯ
ВЫСОКОБЛАГОРОДНЫХ ГОСПОД
ОФИЦЕРОВ ДЕЖУРНЫХ
РАВНО ДЛЯ
ВЫСОКОБЛАГОРОДНЫХ ГОСПОД
ОФИЦЕРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТАКЖЕ ДЛЯ
БЛАГОРОДНЫХ И ВЫСОКОРОЖДЕННЫХ
ОСОБ

Далее следовало название пьес. с указанием фамилий исполнителей ролей.

Наконец, долгожданный день наступил. С утра арестанты-артисты горячо принялись за подготовку самой большой острожной казармы к предстоящему спектаклю. Было отведено место для сцены, оркестра, повешен занавес, поставлены кресла, которые предназначались для офицеров и других «высокородных особ», а также скамейки для остальных зрителей.

Едва наступили сумерки, импровизированный театральный зал, освещенный сальными свечами, стал заполняться зрителями. И скоро набралось столько народу, что яблоку негде было упасть. В тесное

помещение казармы втиснулись обитатели всего острога. Не пришли только больные. Обычно шумные и не стеснявшиеся в выражениях, арестанты на этот раз вели себя удивительно тихо. Даже разговаривать старались шепотом. Все прислушивались к тому, что происходило за занавесом.

Все было готово. Ждали почетных гостей. Наконец пришли и они. Кресла в первом ряду заняли караульный офицер, несколько военных инженеров и чиновники из канцелярии плац-майора и коменданта. Можно было начинать представление. По знаку арестанта Потейкина, исполнявшего функции капельмейстера, заиграл оркестр. Несмотря на свою малочисленность (в его составе были две скрипки, две гитары, три балалайки и бубен), он творил настоящие чудеса. С особенным блеском музыканты исполняли плясовые мотивы и народные песни. Прошло всего несколько минут, а зрительный зал был уже целиком захвачен звуками музыки. Повсюду виднелись радостные, улыбающиеся лица, глаза многих арестантов загорелись, а некоторые в такт музыке начинали подергивать плечами и притопывать ногами.

— Ай да мастера! Браво! Браво, славно! Еще раз, еще, еще ра-а-з! — раздавались восторженные голоса.

И действительно, оркестр играл чудесно. Достоевский говорил, что он «не имел понятия о том, что можно сделать из простых, простонародных инструментов; согласие звуков, сыгранность, а главное дух, характер понятия и передачи самой сущности мотива были просто удивительные»[89].

Прозвучали последние аккорды, и занавес взвился. Перед изумленными зрителями возникла поистине волшебная картина. На огромном холсте в глубине сцены были нарисованы «деревья, цветистые луга, струившийся, журчащий ручеек при вечернем закате солнца. Все это венчалось куполом пурпурно-голубого неба...»[90] Ничего подобного многие арестанты никогда не видели. Но еще больший успех у них имела комедия «Филатка и Мирошка — соперники», которую ставили первой. Когда на сцене появился лукавый и оборотистый мужичок Филатка, а вслед за

ним «благодетельный помещик», одетый в офицерский мундир с эполетами, то восторгам и ликованию не было предела.

В свое время Федор Михайлович не раз видел эту пьесу в исполнении московских и петербургских артистов, но никогда она не звучала для него столь убедительно и ярко. Особенно выделялся своей игрой арестант Баклушин, исполнявший в спектакле роль Филатки. По словам писателя, он был «настоящий прирожденный актер с большим талантом» и играл свою роль с подлинным мастерством. Баклушин вдумывался в каждое слово, которое произносил, каждое движение его на сцене было определено событиями, разворачивающимися в спектакле. Он настолько вживался в свою роль, что, казалось, забывал, что находится на сцене.

— Лихо, Баклушин! Ай да молодец! — то и дело слышалось среди зрителей.

Эти возгласы отвлекли внимание Достоевского от сцены, и он посмотрел на толпившихся вокруг него зрителей. И не зря. Смотреть на них было не менее интересно, чем на спектакль. Писатель увидел неподдельную радость, озарившую их грубые обезображенные клеймами лица, восторженно сверкавшие глаза. Арестанты радовались, как дети, и, с детской непосредственностью оглядываясь по сторонам, призывали всех окружающих разделить их веселье.

«Филатка и Мирошка» имел огромный успех. Но фарс «Кедрил-обжора» встречен был с еще большим восторгом. Содержание фарса было незамысловатым и отдаленно напоминало легенду о Дон Жуане. Вот оно.

Попав в трудные обстоятельства, барин обратился за помощью к нечистой силе, за что должен был продать свою душу. Пришло время расплаты, и черти унесли барина в ад. Его слуга Кедрил, обжора и плут, успел в это время спрятаться. Увидев, что барина нет, он усаживается на его место и, насмешливо подмигивая публике, говорит:

— Ну, я теперь один... без барина!

Эти слова зрители встретили веселым смехом.

А Кедрил, которого прекрасно играл арестант Потейкин, улыбаясь во весь рот, добавлял:

— Барина-то черти взяли!

«После этих слов, — рассказывал Ш. Токаржевский, — публика разразилась неудержимым взрывом хохота... Единодушный, веселый порыв сопровождался еще и большим топотом ног, бряцавших кандалами и цепями, в которые закованы были каторжане, и громом аплодисментов. Такое ликование объяснялось тем, что каждый из присутствовавших в каземате имел над собой какого-нибудь «барина», который в достаточной степени насолил ему, неоднократно заслужившего искреннего пожелания: «Чтоб тебя черти взяли!» Именно поэтому общая радость... проявилась у каторжан, когда они смотрели эту сцену»[91].

Снова заиграл оркестр, и под звуки камаринской на сцене острожные артисты разыграли пантомиму «Влюбленный брамин», вызвавшую новую волну восторга. Люди, казалось, позабыли, где они находятся, забыли о высоком частоколе, окружающем острог, о часовых, день и ночь охраняющих его, о кандалах, которые позванивали у них на ногах. Для них это был какой-то волшебный, сказочный праздник, позволивший хоть ненадолго позабыть об острожной жизни.

«Представьте острог, — говорил Достоевский, — кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь однообразную, как водяная капель в хмурый, осенний день, — вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжелый сон, устроить целый театр, да еще как устроить: на гордость и на удивление всему городу...»[92]

Праздник был нарушен самым неожиданным образом. Еще не закончилась пантомима, еще оркестр играл разудалую камаринскую, как вдруг дверь, ведущая в коридор, с грохотом распахнулась, как будто ее высадили бревном, в клубах морозного воздуха, потоком хлынувшего в казарму, появилось багровое лицо плац-майора Кривцова. В расстегнутом мундире, без шинели, без шапки, совершенно пьяный, он ос-

тановился на пороге и, обведя собравшихся мутным взглядом, закричал:

— Что здесь творится? Спрашиваю я!.. Каторжане в каземате устраивают театральное представление, точно «цивильные»!

— С вашего разрешения, господин майор, — сказал дежурный офицер.

— Врешь! Я не давал никакого разрешения. Я вам покажу разрешение! Ефрейтор! Солдаты! Гей! Розог! Скорее розог![93]

Арестанты встретили появление плац-майора откровенной ненавистью. Отовсюду на него смотрели мрачные озлобленные лица, виднелись сжатые кулаки. Трудно предположить, чем закончилось бы это столкновение, если не вмешался бы адъютант генерала Абросимова, присутствовавший на спектакле, который поспешил к Кривцову и успокоил его, а затем отправил на квартиру.

— Чтоб тебя язвила язва сибирская!

— Да будь ты проклят на семи кабаках! — неслись ему вслед проклятия.

Мало-помалу страсти улеглись. Арестанты стали расходиться по своим казармам. По разрешению дежурного офицера Достоевский и ссыльные поляки еще некоторое время постояли на улице.

— Ведь только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, — задумчиво проговорил Достоевский, — повеселиться по-людски, пожить хоть час не по-острожному — и люди нравственно изменились. Пусть ненадолго, но изменились.

И все вспомнили, что за все время, пока готовилось представление, в остроге царил удивительный порядок. Не было ни ссор, ни ругани, ни драк. Самые азартные игроки забросили карты, а целовальник Газин даже жаловался на то, что арестанты за последнее время почти совсем не покупают у него вино, и он лишился всякого заработка.

Пора было возвращаться в казарму. Большинство заключенных уже спало, лишь кое-где еще слышались разговоры о только что виденном представлении. Но

и они наконец стихли. Только старик-старообрядец на печи, не замечая никого вокруг, молился за всех «православных христиан», изредка нарушая тишину тихим и протяжным «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»

* * *

Первая мысль, возникавшая у Достоевского каждое утро, когда он открывал глаза, была одна и та же: сколько дней осталось до свободы? О ней он мечтал и думал ежечасно. Без этого его жизнь на каторге была бы лишена самого главного — надежды. А она не оставляла писателя никогда. Он верил, что придет время и он вернется на родину, снова займется своим любимым делом, без которого не мыслил своего существования, снова станет писателем.

Позади осталось то время, когда все вокруг казалось необычным, странным, отталкивающим. «Человек — существо, ко всему привыкающее», — любил повторять Достоевский. Привык и он, но примириться со своим положением, с положением окружающих его людей так и не смог. По-прежнему боль и негодование вызывали в душе писателя вид страданий человека, надругательство над его достоинством, гонения, которым он подвергался. «Примириться с этой жизнью было невозможно», — говорил он даже тогда, когда уже далеко позади остались все ужасы каторги.

Среди беспросветного острожного существования были у Достоевского свои маленькие радости. Изредка он получал с воли коротенькие записки и деньги от жен декабристов — Фон-Визиной, Анненковой. С последней он даже однажды встретился во время ее кратковременного пребывания в Омске, куда она приезжала навестить дочь. Но особенно большое впечатление произвела на него одна встреча.

Как-то в один из зимних дней 1853 года конвойный солдат привел его во двор казенного дома, который он должен был очистить от снега. Однако чистить снег не пришлось.

— Федор Михайлович, войдите, пожалуйста, в дом, — услышал Достоевский чей-то голос.

Он обернулся и увидел молодого человека в форменном мундире Московского межевого института. Это был Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста И. И. Якушкина, который, воспользовавшись командировкой в Сибирь, решил повидаться с известным русским писателем, произведения которого очень любил и перед личностью которого преклонялся. Приехав в Омск, он попросил знакомого офицера устроить ему свидание с Достоевским, и тот распорядился привести писателя во двор своего дома, якобы для уборки снега. Много лет спустя Е. И. Якушкин в письме к своему сыну рассказал об этой встрече: «...на меня страшно грустное впечатление произвел вид вошедшего в комнату Достоевского в арестантском платье, в оковах, с исхудалым лицом, носившим следы сильной болезни»[94].

Прошло совсем немного времени, а они уже говорили, как старые знакомые. Федор Михайлович жадно расспрашивал о том, что делается в России и за границей, о своих прежних знакомых и, конечно, больше всего о литературе. Он интересовался тем, что было написано за те годы, когда он был насильственно отторгнут от литературы, что создали за это время известные ему писатели и появились ли новые имена. Кое о ком он уже слышал и теперь просил рассказать о них поподробнее.

С горечью говорил Достоевский о своей жизни на каторге, об изнурительных припадках болезни, которые повторялись все чаще и чаще.

Незаметно пролетело время. Пора было расставаться.

— Встреча с вами оживила меня, многое напомнила и вселила надежду. Да, да, надежду, — торопливо говорил Достоевский, прощаясь со своим новым знакомым и глядя на него внимательными и грустными глазами. — Я теперь знаю: меня помнят, меня не забыли. Мне теперь легче жить. Легче!

И, слегка задумавшись, с чувством добавил:

— Я часто буду вспоминать вас, ваше теплое участие ко мне. До свиданья.

«Мы расстались, — вспоминал Е. И. Якушкин, — более чем знакомыми, почти друзьями»[95]. Эта встреча послужила началом многолетним дружеским отношениям. Глубокое уважение друг к другу они сохранили до конца своих дней.

* * *

Последний год пребывания в остроге хорошо запомнился писателю. И не только потому, что близка была долгожданная свобода, что теперь уже не годы, а только месяцы отделяли от нее. Нет. Именно в это время Достоевский почувствовал себя своим человеком на каторге. Многие арестанты в конце концов признали его за хорошего человека и перестали чуждаться его. Да и он сам теперь все больше и больше убеждался в том, что среди обитателей острога было много характеров глубоких, сильных, прекрасных. Ему приятно было видеть, что за грубой, порой отталкивающей внешностью скрывалось доброе сердце. И таких людей было много.

Запомнился этот год писателю и потому, что он стал пользоваться некоторыми льготами, о которых раньше и не помышлял. В связи со сменой острожного начальства (плац-майор Кривцев попал под суд и вынужден был выйти в отставку) несколько смягчился и режим каторги. Теперь Федор Михайлович изредка мог читать. Книги хотя и запрещалось иметь, но так как нарушители дисциплины уже не преследовались с такой свирепой жестокостью, как раньше, то этим и воспользовались политические заключенные.

Каждая новая книга с восторгом принималась Достоевским. Он готов был отказаться от сна, от всего, лишь бы иметь возможность лишний час просидеть за книгой. Особенно много радости доставляли журналы. Читая их, писатель старался угадать, на много ли он отстал от жизни на воле, чем живут там люди, что их волнует, какие вопросы их занимают. Он не мог не видеть, что многое там изменилось, что со многим предстояло теперь познакомиться сызнова, что все новые и новые деятели вступали на аре-

ну общественной жизни, что и литература пополнилась новыми именами.

Никогда с таким нетерпением не ожидал Достоевский зимы. Ведь это была последняя зима в неволе, а там... Нет, он старался не думать о том, что будет там, на свободе. Но мысли об этом ни на секунду не оставляли его. И иногда он, сам того не замечая, создавал в своем воображении картину дня своего освобождения. Казалось, этот день будет непередаваемо прекрасен. Ему представлялось, что в этот день все арестанты будут настроены очень торжественно и будут очень веселыми. Да, да, обязательно веселыми. И радоваться они будут за него, за то, что выходит на свободу «хороший человек».

Но все вышло несколько иначе, чем представлял себе Достоевский.

Накануне дня своего освобождения, когда на землю спустились ранние зимние сумерки, Федор Михайлович отправился за казармы, где так часто любил уединяться. Он вспомнил, каким одиноким и заброшенным чувствовал себя в первые дни острожной жизни, как прятался сюда от посторонних глаз, сколько было здесь передумано дум, сколько похоронено надежд.

Федор Михайлович потрогал рукой угловую палю, это была п о с л е д н я я паля из тех добрых полутора тысяч, которые он отсчитывал за четыре с лишним года.

— Последняя, — прошептал он. — Последний день. Завтра свобода, другая жизнь. А здесь все останется по-старому. Сотни людей по-прежнему будут влачить жалкое, недостойное человека существование. Боже мой! Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром!.. Ведь весь этот народ — необыкновенный народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?[96]

— То-то, кто виноват? — помолчав, тихо и насмешливо добавил Достоевский.

7*

Последняя ночь прошла тревожно. Достоевский почти не сомкнул глаз. Он лежал с открытыми глазами, и тысячи мыслей проносились в его голове. Писатель вспоминал свою жизнь в остроге с самого первого дня. Мысленно прощался со всем, что его окружало эти бесконечные четыре года.

Едва начало светать, Достоевский поднялся и начал собираться. Потом обошел все казармы и попрощался с арестантами. Много рук, жестких и мозолистых, протянулось к писателю. Но особенной радости никто не высказывал, за исключением лишь нескольких лиц, с которыми он близко сошелся. Некоторые арестанты сделали вид, что не замечают протянутой руки, а иные сурово и угрюмо отвернулись. И хотя в этом не было ничего неожиданного, но Федор Михайлович почувствовал обиду, и не на них, а на себя. За то, что так и не нашел дороги к их сердцу.

Острог опустел. Арестанты отправились на работу. Достоевский и Дуров вышли из казармы на улицу. День был сумрачный, неприветливый. Ветер гнал над землей клочья туч, и небо казалось каким-то надорванным, как старое лоскутное арестантское одеяло. Нет, не таким представлялся этот день писателю.

В сопровождении унтер-офицера петрашевцы снова, как когда-то четыре года назад, отправились в инженерную мастерскую. Но теперь их вели туда, чтобы освободить от оков. Расковали петрашевцев свои же арестанты. Сначала кандалы сняли с Дурова. Потом наступила очередь Достоевского. Он поставил ногу, и удары молота прозвучали для него, как набат, возвещающий о свободе.

«Кандалы упали, — рассказывал об этом Достоевский в «Записках из мертвого дома». — Я поднял их... Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас были на моих же ногах.

— Ну, с богом! с богом! — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!»[97]

* * *

Позади остались стены Омской каторжной тюрьмы. Четыре страшных года провел там писатель, и они теперь казались ему каким-то кошмарным сном. «Что за ужасное было это время, — писал Федор Михайлович своему младшему брату А. М. Достоевскому. — Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге»[98].

Покидая «мертвый» дом, Достоевский был уже во многом другим человеком. Четыре года напряженных умственных исканий, каждодневных мучительных дум не прошли даром. «...Вечное сосредоточение в самом себе, — рассказывал писатель, — куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды»[99].

Но что же все-таки произошло? Какими новыми идеями обогатился Достоевский на каторге? Как шел процесс пересмотра прежних верований? Об этом он никому не говорил, даже самым близким. Однако по тем намекам, иносказаниям, которыми изобилуют его письма, написанные сразу после выхода из каторги, по отдельным, очень кратким высказываниям, содержащимся в «Записках из мертвого дома», и, наконец, по более поздним рассуждениям Достоевского в «Дневнике писателя» можно сделать вывод, что он пересмотрел прежние свои убеждения. Об этом Достоевский сам говорил несколько позднее в письме к Э. И. Тотлебену: «...Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли»[100].

Достоевский никогда не был цельным человеком, его убеждения даже в период сближения с Белинским и петрашевцами не были глубокими и последовательными. Разгром кружка Петрашевского, одиночное заключение, потрясение, которое он пережил на Семеновской площади, встреча с женами декабристов — все это подорвало его веру в революционный путь освобождения народа. Собственный же опыт участия в освободительном движении оказался слиш-

ком малым, чтобы понять и осмыслить хотя бы в самых общих чертах причины неуспеха выступлений дворянских революционеров, чтобы сохранить в себе веру в идеи утопического социализма.

Оказавшись на каторге, Достоевский почувствовал себя страшно одиноким: не было рядом друзей, которые помогли бы разобраться в сомнениях, возникших у него, а обитатели острога намеренно сторонились его. И на протяжении всего срока каторжных работ Достоевский не переставал чувствовать себя чужим среди арестантов, хотя под конец и сошелся с некоторыми каторжниками и пользовался среди них уважением и даже любовью. Это отчуждение привело писателя к глубоко неверной мысли о характере разобщенности народа и образованной интеллигенции. У него рождается мысль о необходимости для интеллигенции вернуться к «почве», к народу, отказаться от мнимого, с его точки зрения, превосходства, принять народное миросозерцание, опроститься и смириться. Этот синтез народного начала с образованностью интеллигенции, по его мысли, должен послужить основой сначала общерусского, а потом и общечеловеческого братства.

Нет нужды говорить о глубочайшем заблуждении писателя. Вместо того, чтобы призвать образованную интеллигенцию просветить народ, воспитать его в духе непримиримости к гнету и тирании, поднять его до уровня сознательной борьбы с самодержавием, Достоевский пришел к выводу, что передовым людям надо еще самим учиться у народа, у «почвы», самим постигнуть таинства его души.

Мысли об опрощении и смирении привели Достоевского к религии, к христианству. Потеряв веру в социалистические идеи, усомнившись в способности народа подняться на борьбу, писатель неминуемо должен был прийти к христианству, этому приюту всех несчастных, потерявших веру в светлые идеалы, отчаявшихся в жизни, духовно ущербных людей. И хотя внутренне Достоевский и сопротивлялся этому, он заставлял себя верить, выбрав в качестве идеала и образца смиренную и всепрощающую личность

Христа. Все это вело писателя к отказу от прежних свободолюбивых устремлений, от социалистических идеалов. Каторга изуродовала душу Достоевского, там он, по словам Ем. Ярославского, «перестал верить в революцию, и в этом была величайшая трагедия, величайшее несчастье всей его жизни»[101].

По такому пути шло развитие взглядов и убеждений Достоевского на каторге. Правда, писатель во многом еще сомневался, во многом не был уверен, но пересмотр прежних верований шел именно в этом направлении.

В одном из писем после выхода из каторги Достоевский говорил: «Идеи меняются, сердце остается»[102]. Идеи писателя изменились, но сердце осталось прежним. Как и раньше, зрелище горя и нищеты простых людей вызывало в его душе чувство глубочайшего сострадания к униженным и оскорбленным, как и раньше, он стремился заглянуть в самые глубокие тайники человеческой души с тем, чтобы потом поведать миру о ее страданиях.

Пребывание на каторге обострило внимание писателя к народной жизни. Не случайно он писал брату: «...если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, немногие знают его»[103].

Но, к сожалению, на каторге в поле зрения Достоевского попал не народ-бунтарь, поднимающийся против своих поработителей, а мужик Марей, существо доброе, кроткое и смиренное. Мужик Марей стал для него идеалом, своего рода великим утешительным символом.

Жизнь среди необычайно пестрого острожного люда, несомненно, обогатила писателя глубоким знанием человеческого характера, человеческой психологии. За четыре года перед ним прошли сотни самых различных людей. Среди них он обращал внимание на «решительные», «своевольные» характеры, для которых не было ничего невозможного, которые жили, не подчиняясь никаким нормам человеческого поведения, а сообразуясь только со своими, часто сугубо животными потребностями. Но гораздо больше инте-

ресовали Достоевского так называемые «кроткие люди», или, как он их сам именовал, «слабые сердца». Он видел их беспомощность и покорность, с какой они сносили все унижения со стороны «сильных мира сего». Именно им отдает писатель предпочтение, именно им симпатизирует, именно в них видит черты мужика Марея.

Навсегда расставшись с «мертвым домом», Достоевский первое время живет в ожидании чего-то, что должно вот-вот случиться. Ему кажется, что он недалек от самого главного в своей жизни, что пройдет совсем немного времени, и ему откроются глаза, и он увидит, куда надо идти, что нужно делать. «...Кажется мне, — писал он Фон-Визиной вскоре после освобождения, — что со мной в скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни»[104].

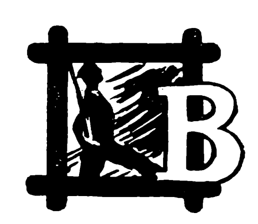
Достоевский ошибся: «кризис всей его жизни» произошел не так скоро, как предполагал писатель. Понадобилось еще добрых пять лет, прежде чем запас впечатлений, почерпнутый в остроге, а затем обогащенный в ссылке, оформился в более или менее последовательное мировоззрение.

Глава IV

РЯДОВОЙ ЛИНЕЙНОГО БАТАЛЬОНА

«В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде».

Ф. М. Достоевский — Н. Д. Фон-Визиной



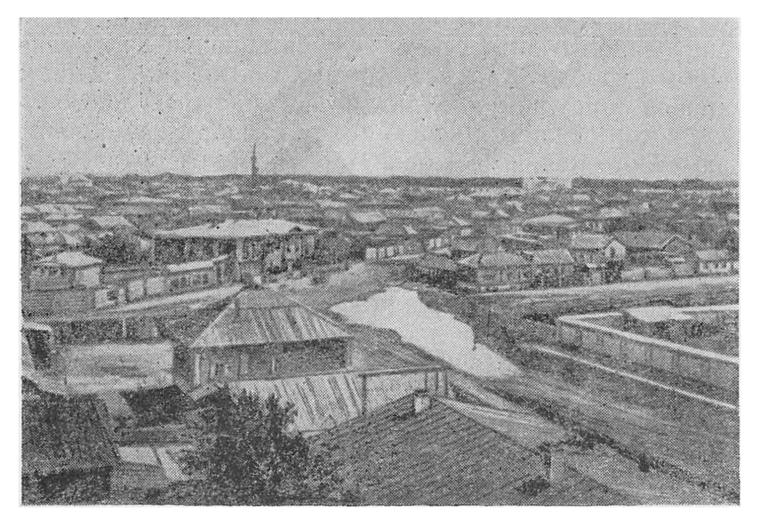
ЫЙДЯ из острога, Достоевский вместе с Дуровым поселился в гостеприимном доме Ивановых. Впервые за пять лет за ним не следил внимательный взгляд караульного солдата, впервые он мог делать то, что хотел, пойти туда, куда ему требовалось. Горько было толь-

ко сознавать, что всему этому очень скоро придет конец. Пройдет немного времени, и он отправится к месту своей новой службы, где о свободе по-прежнему можно будет только мечтать. И Достоевскому хочется теперь как можно больше сделать. Он жадно читает газеты и журналы, внимательно просматривая разделы, где освещались события внутренней и международной жизни. Его очень беспокоило возникновение восточного конфликта, который в конечном итоге привел к Крымской войне. Требования России восстановить права православной церкви в Палестине ему казались совершенно справедливыми. Ведь идеи православного христианства были писателю теперь чрезвычайно близки, и все, что касалось укрепления их позиций, принималось Достоевским с горячим сочувствием. Вместе с тем в разговорах и слухах, ходивших по Омску, было много противоречивого, недосказанного. Одни говорили о том, что война неминуема, другие утверждали, что ее можно избежать. Одни сулили России быструю победу, другие с сомнением покачивали головами и осторожно говорили, что если Англия и Франция вмешаются в восточный конфликт, то война может привести к нежелательным для России последствиям. Все это тревожило и настораживало.

Много внимания Достоевский уделял переписке с родными. Правда, разрешение переписываться с ними Федор Михайлович получил еще будучи узником Омского острога, но своим правом он воспользовался только один раз. Письмо, адресованное брату, М. М. Достоевскому, и отправленное через штаб Сибирского корпуса, не сохранилось. Но вряд ли в нем были интересные сведения, так как писатель знал, что прежде чем оно попадет к адресату, его просмотрит не одна пара настороженных глаз царских чиновников.

Только теперь, живя в доме Ивановых, Достоевский имел наконец возможность спокойно, без опасения подвергнуться наказанию, написать о том, как жил эти годы, что видел, что передумал и перечувствовал.

Первое письмо он написал М. М. Достоевскому,



Семипалатинск в середине прошлого века

которого горячо любил и глубоко уважал. Зная, что его послание минует цензуру (оно было отправлено К. И. Ивановым в Петербург с одним из знакомых), писатель о многом поведал брату. Яркими красками нарисовал он картины каторжной жизни, широкими мазками набросал контуры отдельных фигур арестантов, рассказывал о своем отношении к обитателям острога и т. д. Это письмо, так же как и «Сибирская тетрадь», явилось одним из самых ранних набросков будущих «Записок из мертвого дома». В нем сжато и порой конспективно Достоевский изложил многие события, художественно воплощенные позднее в его знаменитом произведении.

Дни, проведенные в доме Ивановых, Федор Михайлович всегда вспоминал с благодарностью. Радушные хозяева старались, чтобы петрашевцы хотя бы на время забыли об ужасах каторжной жизни. Они окружили их такой заботой и вниманием, что Достоевскому и Дурову казалось иногда, будто они живут у своих родных.

Особенно радовала писателя тишина, тишина, о ко-

торой он так мечтал на каторге. Он любил, проснувшись задолго до рассвета, слушать звуки просыпающегося города. Как все это было необычно! Вместо криков караульных солдат, беспокойно-тревожного гула, который днем и ночью стоял в казарме, вместо барабанного боя, возвещавшего о начале очередного дня страданий и мук, Достоевский слышал, как изредка за окнами тихо поскрипывал снег под полозьями проезжавших саней, как где-то далеко-далеко деловито начинали свою утреннюю перекличку петухи. Потом в доме и на улице возникали новые звуки: за стеной падала на пол вязанка дров, слышался плеск воды, гремела самоварная труба, а совсем недалеко, по-видимому, на ближайшей площади, глухо ударял церковный колокол, и ему в ответ начинали трезвонить колокола во всех концах города. В такие минуты на душе у Федора Михайловича было удивительно покойно, о будущем, о том, что ожидает его в ближайшее время, не хотелось думать.

Шли дни. Уже стало известно, что Дуров остается в Омске, а Достоевский должен будет отправиться в Семипалатинск, где квартировал линейный батальон № 7, куда писатель был зачислен рядовым. Все чаще задумывался Федор Михайлович над тем, как он будет жить на новом месте, что еще уготовила на его долю судьба. «Не знаю, что ждет меня в Семипалатинске, — писал он брату... — Одного только можно опасаться: людей и произвола. Попадешь к начальнику, который невзлюбит (есть такие), придерется и погубит или загубит службой, а я так слабосилен, что не в состоянии нести всю тягость солдатства»[105]. А служба в сибирских войсках (это Достоевский хорошо знал) была очень трудной, труднее, чем можно было себе ее представить. Он и в Омске видел, как солдаты в любую погоду целые дни проводили на учебных плацах, готовясь ко всякого рода смотрам и парадам, а там, в глуши, куда он должен ехать, вдали от людей, готовых в трудную минуту прийти на помощь, ему предстояло испытать все тяготы николаевской солдатчины. Между тем здоровье Достоевского за по-

следнее время резко ухудшилось, припадки эпилепсии повторялись все чаще.

С беспокойством думал Федор Михайлович о предстоящем отъезде. Ему казалось, что, отправляясь в степную глушь, он навсегда порывает с прошлым, с прежними верованиями и мечтами, которые во многом пересмотрел, но к которым по-прежнему лежало его сердце. В Омске все напоминало еще о прошлом. Здесь рядом с ним был Сергей Дуров — прежний товарищ, поэт, мечтательная и романтичная натура. И пусть они давно уже отдалились друг от друга и стали совершенно чужими, но все равно, присутствие старого товарища будило и воскрешало прошлое, тревожило душу воспоминаниями. «Там-то, в Семипалатинске, кажется, совершенно оставит меня все прошлое, все впечатления и воспоминания мои, — с горечью писал Достоевский Н. Д. Фон-Визиной, — потому что последние люди, которых я любил и которые были передо мной, как тень моего прошедшего, должны будут расстаться со мной»[106].

Время, проведенное в семье Ивановых, пролетело быстро. Пора было ехать. Тепло простился писатель с гостеприимными хозяевами, горячо пожал руку Дурова, с которым ему больше уже не довелось встретиться, и, напутствуемый пожеланиями счастливого пути, отправился к месту своей новой службы.

Дорога всегда наводила Достоевского на грустные размышления. Вот и теперь ему припомнился бесконечно долгий путь, совершенный им четыре года назад из Петербурга в Сибирь. И тогда он тоже не знал, что его ожидает, с чем ему придется столкнуться.

Мимо бежала бесконечная снежная равнина. Лишь изредка около Иртыша, вдоль которого шла дорога, виднелись приветливые хатки казачьих станиц, да где-то далеко, на горизонте, — небольшие холмы.

Проехали Павлодар — маленький, затерянный среди степных просторов городишко. Одна за другой оставались позади почтовые станции. Все так же уныло было вокруг, все так же неутомимо мчали вперед сани маленькие приземистые лошаденки.

Только на третий день добрался Достоевский до места назначения. Семипалатинск вначале произвел на него отрадное впечатление. «Климат здесь довольно здоров, — делился писатель первыми своими наблюдениями с братом.—Здесь уже начало Кыргизской степи. Город довольно-большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст... Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что подступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того»[107].

Семипалатинск в середине прошлого века походил скорее на огромное село, нежели на город, хотя имел в то время довольно большое торговое значение. Через него велся оживленный обмен товарами между Россией и Средней Азией, через него проходили многочисленные торговые караваны. Общение с Востоком не могло не наложить своего отпечатка на облик города. В нем ясно различались две части: русская и так называемая татарская. Русская часть состояла преимущественно из одноэтажных деревянных домишек с высокими пирамидальными крышами. И только у центральной площади возвышалось несколько двухэтажных домов. Здесь же располагались различные казенные учреждения, казармы и большой православный собор. Над татарской частью города высоко вверх устремлялись минареты нескольких мечетей, которые придавали городу своеобразный восточный колорит.

Здесь, в маленьком заштатном городишке, затерянном среди бескрайней степи, почти у самой китайской границы, вдали от всего, что было близко и дорого, предстояло жить «рядовому без выслуги» Федору Достоевскому.

* * *

Не сразу привык Достоевский к новому своему положению. Правда, жилось в солдатских казармах лучше, нежели в каторжной тюрьме: здесь было несрав-

ненно чище да и кормили лучше. Но было и другое, что с лихвой восполняло все ужасы каторжной жизни. Бесконечные ученья, муштра, бессмысленная шагистика — все это напоминало ту бесцельную и никому не нужную работу, которую часто заставляли выполнять обитателей Омского острога. «Конечно, ты знаешь или, наконец, можешь угадать, чем я теперь занят, — писал Федор Михайлович некоторое время спустя своему старшему брату. — Ученье, смотры бригадного и дивизионного командиров, приготовления к ним. Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило — другой вопрос... Как ни чуждо все это тебе, но я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем... таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов»[108].

Скупыми строками письма хочет поведать Достоевский о своей трудной жизни. И говорил он далеко не все. Он не писал брату о том, что часто после целого дня строевых учений, полумертвый от усталости, он должен был идти в ночной караул. Хорошо еще, если можно было провести ночь в караульном помещении. А ведь нередко приходилось по нескольку часов шагать с ружьем на плече где-нибудь около порохового погреба или тюрьмы, на пронизывающем до костей холодном ветру. Но никогда, ни при каких условиях никто не слышал от писателя жалоб, ни малейшего сетования на свою судьбу. Наоборот, к своей службе он относился чрезвычайно внимательно и старался безукоризненно выполнять все предписания и инструкции, чтобы не давать никакого повода для нареканий и взысканий. Приказания унтер-офицеров и фельдфебеля он выполнял беспрекословно и даже пытался не реагировать на брань и оскорбления, которым нередко подвергался. Федор Михайлович понимал, что от его поведения, от отношения к нему начальства зависит вся его дальнейшая судьба.

Пунктуальность и исполнительность нового солдата, его отзывчивость и доброта к сослуживцам не остались незамеченными. Большинство солдат и офицеров доброжелательно относились к опальному писателю и при случае стремились хоть чем-нибудь помочь ему: освобождали от тяжелых работ, от хозяйственных нарядов, подменяли в карауле. И только ротный фельдфебель всегда был недоволен Достоевским. Что бы тот ни делал, как бы ни старался, фельдфебель всегда к чему-нибудь да придирался. У него для Федора Михайловича всегда было поручение потруднее, позаковыристее и пообиднее. И стоило писателю хотя бы несколько замешкаться, как в его адрес летела отборная ругань, сопровождаемая иногда для большей убедительности оплеухой или подзатыльником. Этой неприязни со стороны фельдфебеля Достоевский был обязан поручику 2-й роты Веденееву, прозванному солдатами за свирепый нрав и тяжелую руку «Бураном». С ним Федор Михайлович познакомился в день своего приезда. Едва писатель появился в казарме первой роты, где ему предстояло проходить службу, как перед ним как будто из-под земли выросла огромная фигура офицера с мрачным и злобным выражением лица. Это был поручик Веденеев, который совершал свой обычный обход всех казарм, хотя это совсем не входило в круг его обязанностей. Но такова уж была натура этого человека — всегда вмешиваться в дела, которые его меньше всего касались. Увидев Достоевского, Веденеев смерил его ненавидящим взглядом и, обращаясь к фельдфебелю, строго и внушительно произнес:

— С каторги сей человек... Смотри в оба и поблажки не давай!

С этого и начались злоключения Федора Михайловича. И только спустя несколько месяцев, очевидно, после внушения, сделанного кем-нибудь из офицеров, сочувственно относившихся к писателю, фельдфебель оставил Достоевского в покое, хотя при случае не лишал себя удовольствия обругать его.

Пребывание на каторге многому научило Достоевского. Он давно понял, что всюду есть хорошие люди,

что русский человек чрезвычайно отзывчив на все доброе и редко бывает неблагодарным. Поэтому, очутившись в солдатской казарме, Федор Михайлович иначе смотрел вокруг себя, нежели в первое время жизни на каторге. За грубостью, темнотой, невежеством своих сослуживцев ему виделось другое; он понимал, что такими их сделала жизнь. Среди его новых товарищей было много бывших крепостных людей, сосланных помещиками за неповиновение, и так называемых «наемщиков», которые по разным причинам шли служить за других. Были среди них молодые, люди средних лет и совсем пожилые. То есть здесь, как и в остроге, Достоевский столкнулся с удивительно пестрым по своему составу людом. И здесь тоже у каждого была своя история, своя жизнь, свое горе.

В солдатской казарме, как и на каторге, Достоевский был очень осторожен и предпочитал держаться в стороне от всех. «Живу я здесь уединенно, — сообщал он брату,—от людей по обыкновению прячусь»[109]. Только к своему соседу по нарам молоденькому семнадцатилетнему солдатику, бывшему кантонисту Н. Ф. Кацу Федор Михайлович относился с глубокой симпатией. Он часто защищал его от нападок и оскорблений товарищей, делился с ним последним куском хлеба. Кац искренне и горячо привязался к своему покровителю и, в свою очередь, старался оказать писателю хоть какую-нибудь мелкую услугу. Но это ему редко удавалось. Получалось всегда так, что Достоевский как будто предугадывал желания молодого солдата и успевал опередить его. Много лет спустя Кац рассказывал: «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский — бесконечно добрый, удивительно сердечный человек, которого нельзя было не полюбить»[110].

Мало-помалу Федор Михайлович привык к новому своему положению. Солдатская служба перестала казаться такой тяжелой, как вначале, да и своих новых товарищей он перестал сторониться.

Но мрачные мысли не оставляли писателя. Напряженная умственная работа продолжалась. Думы о

прошлом не покидали его. «Покамест я занимаюсь службою, хожу на учение и припоминаю старое»[111],— сообщал он в письме к брату. Снова и снова Федор Михайлович перебирает в памяти все прошедшее, подолгу размышляет о том, что ему пришлось увидеть в страшных стенах Омского острога. Многое, как ему казалось, открылось для него, стало ясным, «созрело», а многое «завяло», «выбросилось вон вместе с плевелами»[112]. Достоевский убедил себя в необходимости опрощения и сближения с народом, в святости личности Христа, в которого, несмотря на внутреннее сопротивление, хочет поверить, в необходимости отказа от борьбы за социальные преобразования. Вот что для него «открылось», вот что у него «созрело», а «выбросил вон вместе с плевелами» писатель свои прежние свободолюбивые устремления, идеи социалистов-утопистов, в которые еще недавно искренне верил. Но даже теперь, когда, по словам Достоевского, для него прояснилась «истина», он не был уверен в своей правоте. Разобраться во всем до конца было пока выше его сил. Он вновь и вновь проверяет свои наблюдения, подвергает сомнению свои новые мысли и убеждения. Но об этом он никому ничего не говорит, даже такому близкому человеку, как брат. Этого «не передашь и не расскажешь на клочке бумаги»,— с горечью писал ему Достоевский.

Заключение в крепости, каторжная работа, тяжелая солдатская служба, вечная сосредоточенность в самом себе, беспрестанные раздумья — все это неузнаваемо преобразило внешность писателя. Лицо его редко озарялось улыбкой, на нем как будто застыли глубокие душевные страдания. В своих воспоминаниях Н. Ф. Кац рисует яркий портрет писателя в этот период его жизни: «Как теперь вижу перед собой Федора Михайловича, среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас никогда не видел на его лице полной улыбки. Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. Был

мало разговорчив... из казармы редко куда уходил, больше сидел, задумавшись и особняком»[113].

Жилось Достоевскому в казарме несладко. Много отвратительных сцен разыгрывалось перед его глазами, не один раз он был свидетелем жестокой расправы над провинившимися солдатами. Особенно страшно было смотреть на то, как их вели сквозь строй и как удары шпицрутенами градом сыпались на обнаженные спины наказуемых. Навсегда запомнил Достоевский тот день, когда и он вынужден был принять участие в одной из экзекуций. По словам Каца, бывшего свидетелем этой сцены, писатель только огромным усилием воли заставил себя поднять палку и нанести очередной удар своему несчастному собрату. Что ему оставалось делать, когда позади строя вышагивала зловещая фигура Бурана, который зорко следил за тем, «не облегчает ли кто удара». И если кто-нибудь, по его мнению, нанес недостаточно сильный удар, тому он на спине ставил мелом крест. А это означало, что не проявившего достаточного «усердия» солдата в тот же день ждала основательная порка розгами под непосредственным руководством Бурана. А уж там ни на какое снисхождение рассчитывать не приходилось.

Федор Михайлович вернулся в казарму совершенно потрясенный, а к вечеру с ним случился тяжелый приступ падучей болезни, после которого он едва оправился.

Много неприятностей доставило Достоевскому то обстоятельство, что он почти ничего не мог есть из того, что готовили на солдатской кухне. Это вызывало ядовитые замечания со стороны некоторых солдат и в особенности со стороны унтер-офицеров и фельдфебелей. А кормили солдат плохо. К тому, что готовили в казарме, и здоровый-то человек привыкал с трудом, а что оставалось делать Достоевскому с его больным желудком? Да и откуда было взяться хорошей пище. Ведь на питание каждого солдата отпускалось 4 копейки в день, из которых почти половина оседала в карманах у ротного, фельдфебеля и кашевара. А на оставшиеся деньги трудно было приготовить что-ни-

будь, хотя бы отдаленно напоминающее обед. Вот и приходилось Достоевскому, когда он не имел возможности купить что-нибудь на рынке, довольствоваться чаем и хлебом.

Нужду писатель терпел страшную. Деньги, которыми снабдили его в Омске, скоро кончились, взять новых было неоткуда. Одно за другим посылает он письма к брату и родным с просьбой о помощи. Но редко, очень редко получал Достоевский ответ на свои послания. Еще реже приходили деньги.

* * *

Как и многие русские писатели, Достоевский чрезвычайно внимательно относился к переписке, которую всегда вел с обширным кругом людей.

Отвечая своим многочисленным корреспондентам, он очень заботился о стиле и языке своих посланий, рассматривая их как своеобразный вид художественного творчества.

Эпистолярный жанр был близок писателю, и он охотно использовал его в своих произведениях. В форме переписки написана его повесть «Бедные люди», рассказ «Роман в девяти письмах». Письма неотъемлемой частью вошли в большинство его крупных романов.

Письма Достоевского из Сибири были первой пробой пера после многолетнего вынужденного молчания. В течение четырех лет Достоевский, по существу, не имел возможности написать ни одной строчки. И хотя ему удавалось иногда делать отдельные заметки в своей «Сибирской тетради», но это, конечно, ни в коей мере не могло удовлетворить писателя, жаждавшего вдохнуть жизнь в бесчисленные образы, переполнявшие его воображение.

Наконец наступила долгожданная свобода. С этого времени начинается оживленная переписка с родными, друзьями.

Свои письма из Сибири Достоевский посылал двумя способами: официальным путем, через штаб Сибирского корпуса, где вся корреспонденция подверга-

лась тщательной цензуре, и тайно, через своих семипалатинских друзей и знакомых.

В первом случае Достоевский был крайне осторожен и почти ничего не сообщал о себе, ограничиваясь самыми общими сведениями о здоровье, о службе и различными просьбами. «Напишу ему (брату — **Н. Я.**) письмо официальное, — говорил писатель в одном из писем, — в котором будет: жив, здоров и только. Что написать в официальном письме, кроме этого?»[114]

И только в письмах, написанных без оглядки на цензуру, Достоевский слегка приоткрывает завесу таинственности, за которую старательно прячется. Но и в них он не говорит полной правды.

Человек скрытный по натуре, к тому же жестоко наказанный за свои прежние убеждения, Федор Михайлович стал теперь очень недоверчив. Даже самым близким людям он не поверяет своих душевных тайн, даже им он старается ничего не говорить. Лишь изредка упоминает он о том, как много за это время он «промечтал и продумал о прошедшем и будущем»[115].

Наиболее значительную часть сибирского эпистолярного наследия писателя составляют письма к М. М. Достоевскому. К своему любимому старшему брату чаще всего обращается он со всякого рода просьбами, с ним ему хочется поделиться своими чувствами и мыслями.

К его удивлению, брат отвечает ему очень коротенькими записками или вообще молчит. Причем молчание это продолжается иногда по 6—8 месяцев. Достоевский в недоумении. Что случилось? Почему брат, самый близкий ему человек, не пишет? Может быть, он боялся навлечь на себя подозрение за связь с «государственным преступником?» Но ведь переписка с ним была давно официально разрешена. Может быть, брат вообще не хотел иметь ничего общего с ним? Подобная мысль у писателя просто не укладывалась в голове *.

---

* Свое молчание М. М. Достоевский объяснял следующим образом: «Мысль, что каждую строку мою прочтут и взвесят люди посторонние, охлаждала во мне всякий раз порыв говорить с тобой»[116].

Достоевский не знает, что и подумать. Он буквально в отчаянии. «Как ты холоден, — с упреком обращается Федор Михайлович к брату, — не хочешь писать, в 7 месяцев раз пришлешь денег и 3 строчки письма. Точно подаяние! Не хочу я подаяния без брата! Не оскорбляй меня! Друг мой! Я так несчастлив! Так несчастлив! Я убит теперь, истерзан! Душа болит до смерти»[117].

Не получая ответа на свои письма, Достоевский насторожился. Он уже не уверен в прежней привязанности брата. Его письма становятся все более сдержанными. Но не в смысле излияния чувств. Нет. Они по-прежнему переполнены уверениями в любви и преданности, страстными призывами любить его, не забывать, горькими сетованиями на свою многострадальную участь. Но о своих убеждениях писатель старается совсем не говорить и под всякими предлогами уходит от разговоров о них.

Несмотря на это, письма к брату все-таки имеют огромное познавательное значение и позволяют нам более ярко представить себе жизнь писателя в ссылке. Мы узнаем о его здоровье, которое день ото дня становилось хуже, о припадках падучей болезни, которые отнимали и без того слабые силы Федора Михайловича. Наконец, в этих письмах, особенно в последний период пребывания писателя в Сибири, много говорится о работе Достоевского над своими сибирскими повестями и о его новых творческих замыслах.

Переписка Достоевского с братом поражает пестротой стиля. Писатель то говорит спокойно, последовательно развивая свои мысли, то вдруг начинает волноваться, и сразу же тон письма меняется. Перед нами появляются какие-то отдельные рваные фразы, в которых чувствуется и затаенное страдание, и горечь, и душевная мука. Голос писателя звучит то дружески-участливо, когда речь идет о делах Михаила Михайловича и о его семье, то взволнованно-страстно, когда он умоляет брата не забывать его, помочь ему.

В некоторых письмах к брату нельзя не почувство-

вать связи отдельных фраз и даже целых абзацев с речью героев ранних произведений Достоевского.

Это же характерно и для многих других писем сибирского периода и лишний раз подтверждает ту мысль, что сибирская переписка писателя была своего рода творческой лабораторией, где он оттачивал свое перо и самым серьезным образом готовился к возобновлению литературной деятельности.

* * *

С того первого дня, когда Достоевский навсегда оставил позади ворота Омской каторжной тюрьмы, он жил только одной мыслью — вернуться в литературу. Он отлично понимал, что сейчас туда для него дорога закрыта. Нужно было искать какие-то пути, что-то делать. Но что? Не имея в Петербурге ни влиятельных родных, ни высокопоставленных знакомых, писатель решает на свой страх и риск предпринять попытку ускорить свою реабилитацию. С этой целью в апреле 1854 года Достоевский пишет стихотворение «На европейские события в 1854 году», в котором прославляет политику русского самодержавия и стремится дать оценку политическому положению, сложившемуся тогда на Западе.

В это время вся Европа жила в ожидании больших событий. Уже в течение полугода шла между Россией и Турцией война. Чаша весов склонялась далеко не в сторону последней. Но на помощь туркам пришли Англия и Франция, которые предъявили Николаю I ультиматум, а затем объявили России войну. Вот на эти события и откликнулся Достоевский.

Стихотворение «На европейские события в 1854 году» во многом примыкает к так называемым «патриотическим» произведениям, в изобилии появившимся в то время в официальной печати.

В своем стихотворении Достоевский доказывает мысль об особой судьбе России, о ее праве на господство в Азии. Он утверждает, что подобная роль предопределена России свыше, что она призвана возродить Византию, что этот час теперь настал.

Ненависть и презрение вызывают у писателя Англия и Франция, которые заключили союз с иноверцами — турками.

Подобные же мысли и даже приблизительно в такой же форме высказывались многими писателями и поэтами охранительного лагеря (Ф. Глинкой, Е. Ростопчиной, В. Красовым и некоторыми другими). И можно смело сказать, что стихотворение Достоевского по своей идейной направленности не выходило за рамки основных мотивов «патриотической» поэзии середины 50-х годов и создавалось по уже имевшимся образцам.

Для своего произведения Достоевский выбрал жанр оды. Этим он, несомненно, отдавал дань возродившемуся в официальной литературе середины 50-х годов жанру героической оды эпохи классицизма. Вместе с тем нельзя не отметить и того обстоятельства, что еще в период своей жизни в Петербурге в 40-х годах писатель с глубоким уважением относился к литературной деятельности русского поэта Г. Р. Державина. Его обличительную оду «Властителям и судьям» Достоевский читал на собраниях кружка Петрашевского.

Но ни серьезный интерес к поэзии классицизма у писателя в прошлом, ни возрождение традиций героической оды в современной литературе не помогли Федору Михайловичу. Первый его опыт в создании стихотворной оды оказался неудачным.

В произведении Достоевского мы напрасно будем искать яркие поэтические образы. Их нет. Зато оно буквально переполнено неудачными стихами и прозаизмами. К тому же далеко не всегда в стихотворении можно понять, что именно хотел сказать писатель.

Нечетко выраженные мысли и некоторая туманность выражений и послужили, по-видимому, причиной того, что стихотворение «На европейские события в 1854 году» не получило одобрения высшего начальства. Представленное вместе с ходатайством о напечатании через штаб Сибирского корпуса в III отделение, стихотворение было похоронено в его архивах.

* * *

Омские друзья Достоевского знали, в каких невероятно трудных условиях живет писатель, и хлопотали о том, чтобы хоть немного облегчить его участь. Их усилия увенчались успехом. Достоевскому разрешили поселиться на отдельной квартире. Впервые за много лет он мог по своему усмотрению располагать свободным временем. Ведь казарменные порядки мало чем отличались от острожных. Читать солдатам не разрешалось. Исключение делалось только для книг религиозного содержания. И уж, конечно, ни о каком систематическом литературном труде думать не приходилось.

Теперь все это было позади. Федор Михайлович поселился в маленьком домике вдовы-солдатки, стоявшем на пустыре невдалеке от казармы. Кругом ни деревца, ни кустика — один песок.

Песок был сущим бедствием для жителей Семипалатинска. Едва стаивал снег и немного подсыхало, по некоторым улицам с трудом можно было пройти: ноги по щиколотку увязали в песке. Стоило подняться хотя бы маленькому ветерку, в воздух поднимались тучи песка. Некоторые офицеры в сердцах называли Семипалатинск «чертовой песочницей».

У дома Достоевского песок лежал «сугробами», и иногда приходилось буквально откапывать калитку в заборе, чтобы выйти на улицу или войти во двор.

Федор Михайлович занимал довольно большую, но низенькую комнату. Убранство ее было более чем скромным: две лавки по стенам, постель за ситцевой занавеской, маленький столик, за которым писатель обедал и писал, ящик, который заменял комод.

Жизнь писатель вел уединенную. У себя дома никого не принимал, да и сам редко где бывал. Но мало-помалу, узнав, что Достоевский — человек образованный, его стали приглашать в некоторые дома в качестве репетитора. Круг знакомых Федора Михайловича значительно расширился после того, как командир батальона Белихов, человек широкой души, который настойчивостью и упорством сумел дослужиться от рядового до подполковника, пригласил однажды писате-

ля к себе домой и попросил почитать ему вслух газеты и журналы. Сам Белихов был небольшой любитель чтения; оно утомляло его, но зато любил слушать других. Чтение Достоевского пришлось по душе Белихову. С этих пор писатель стал частым его гостем и нередко оставался даже обедать.

Однажды после получения очередной почты Федор Михайлович несколько дольше обычного задержался у Белихова. Разговор шел о военных событиях в Крыму. Белихов и Достоевский обсуждали только что прочитанную корреспонденцию из Севастополя. Увлеченные разговором, они не обратили внимания на шум и приглушенные голоса, доносившиеся из передней. Дверь отворилась, и на пороге показались незнакомые писателю гости: молодая, довольно миловидная женщина и небольшого роста болезненного вида мужчина в чиновничьем мундире.

Достоевский стушевался. Он всегда стеснялся новых людей, избегал новых знакомств, а после каторги стал вдвойне осторожен и очень неохотно сходился с людьми.

— Исаев, Александр Иванович, — проговорил гость негромким, слегка надтреснутым голосом, подавая Достоевскому горячую сухую руку. — Моя жена, Мария Дмитриевна.

Писатель молча поклонился. Называть себя не следовало. Он отлично знал, что семипалатинские жители уже довольно наслышаны о нем. И отнюдь не как о писателе, а как о «государственном преступнике», бывшем каторжнике.

Прерванный разговор не клеился. Достоевский сидел потупившись, лишь изредка поднимая глаза на гостей. Он не мог не заметить, что Исаева внимательно наблюдает за ним. К праздному любопытству провинциальных обывателей писатель уже привык, но было во взгляде Марии Дмитриевны что-то такое, чего он не видел у других. Ему показалось, что в нем сквозит искреннее сострадание и глубокое сочувствие.

«Нет, нет, — подумал он про себя. — Это мне только кажется. Что она мне может сказать? Зачем я ей?»

Воспользовавшись тем, что муж и Белихов о чем-то разговаривали, Мария Дмитриевна стала расспрашивать Достоевского о его жизни, о его знакомствах, о том, как ему нравится здесь, в Семипалатинске. Мимоходом пожаловалась на скуку, на отсутствие друзей, на одиночество.

Федор Михайлович отвечал односложно, но внимательно прислушивался к звуку ее голоса и старался понять, искренне ли она говорит. Ему очень хотелось знать, зачем она так разговаривает с ним. Что это было: настоящее дружеское участие или обычная светская болтовня, которая всегда так раздражала его? Нет, пока он не уловил ни одной фальшивой нотки в ее голосе. В нем звучала удивительная мягкость и даже задушевность. Казалось, что она говорит с давно знакомым человеком, советуется с ним и проявляет заботу о нем.

Эта встреча пробудила в Достоевском множество противоречивых чувств. Как ни старался он убедить себя, что не стоит придавать особого значения знакомству с семьей Исаевых, что дружеское расположение и внимание к нему со стороны Марии Дмитриевны может быть не чем иным, как умелым кокетством, сердце говорило другое. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним, как живое, вставало лицо Марии Дмитриевны, он видел ее внимательные и почему-то грустные глаза, слышал ее немного резкий, но проникнутый живым участием голос. Писатель часто ловил себя на том, что думает об Исаевой, и думает часто, гораздо чаще, чем о ком-либо другом.

После памятного вечера Достоевский еще несколько раз встречался с Исаевыми у Белихова. И каждый раз эти встречи будили в его сердце странное чувство щемящей радости. От нее становилось легко на душе и все вокруг уже не представлялось таким мрачным и безысходным, как раньше.

Видеть Марию Дмитриевну стало для Достоевского необходимостью. Когда писатель долго не встречал ее, грусть и тоска снова закрадывались в сердце. Все было не так, все раздражало, все выбивало из привычной колеи. Но стоило ему увидеть Исаеву, как

его точно подменяли. На душе становилось спокойно, разглаживались скорбные морщины, глубоко запавшие в углах губ.

— Что это? — тревожно спрашивал себя Федор Михайлович. — Почему каждая встреча с ней так волнует меня? Почему я так жду этих мимолетных встреч?

И не скоро признался он себе в том, что пришла наконец к нему его первая, слишком запоздалая и потому такая трудная и мучительная любовь.

Это открытие обрадовало и испугало Достоевского. Теперь все чаще и чаще он задавал себе вопросы, на которые не находил ответа. «Зачем все это? — думал он. — К чему может привести эта неразумная страсть? Ведь у нее муж, сын! И мы никогда не будем вместе! Да и что ей во мне, бывшем каторжнике, «государственном преступнике», а ныне «рядовом без выслуги»?»

Долгое время, несмотря на неоднократные приглашения, Достоевский не решался бывать в доме Исаевых. Боялся, как бы Мария Дмитриевна не узнала о его чувстве к ней, боялся, что выдаст себя каким-нибудь неосторожным, невпопад сказанным словом. И только после того, как Мария Дмитриевна попросила его позаниматься с маленьким Пашей Исаевым, Федор Михайлович наконец решился переступить порог дома своей возлюбленной. А придя раз и пробыв там целый вечер, он уже не мог подавить в себе искушение и стал бывать у Исаевых все чаще и чаще.

Достоевский уже много знал о прежней жизни Марии Дмитриевны. Она рассказала ему о своем детстве, об отце, Д. С. Констант, который служил в Астрахани директором карантина, о том, что ее отец был сыном французского эмигранта, что сама она и ее сестры получили образование в пансионе, и о многих других смешных, но теперь таких дорогих для писателя подробностях. На теперешнюю жизнь Мария Дмитриевна не жаловалась, но Достоевский видел, как тяжело приходится молодой женщине. Муж ее был человеком со странностями, самолюбивым, любя-



М. Д. Исаева

щим подчеркнуть свою независимость. В свое время он служил чиновником в одном из казенных учреждений Семипалатинска, но не сумел ужиться с начальством и вынужден был выйти в отставку. Ко времени знакомства с ним Достоевского он уже несколько месяцев был без работы и сильно пил. Состояния Исаевы не имели, а кое-какие сбережения быстро таяли, и нужда стучала в дверь их дома. Мария Дмит-

риевна прилагала героические усилия для того, чтобы свести концы с концами: брала на дом всякого рода работу, хлопотала о назначении мужа на какое-нибудь место, уговаривала кредиторов подождать долги. Александра Ивановича все это мало трогало. Он по-прежнему пил и все более опускался. В некоторых домах его перестали принимать. Пьяный, он высокопарно говорил о своем благородстве и грозился отомстить своим недругам, а потом плакал злыми слезами. Трезвый, он целыми днями молча сидел у окна или у себя за перегородкой и вместе с сыном листал и перелистывал все одну и ту же книгу — «Герои 1812 года».

Писатель видел, как мучительно стыдилась Мария Дмитриевна своего мужа, хотя и старалась ничем не выдать этого. Она часто говорила Достоевскому о том, что Александр Иванович хороший, но только очень несчастный человек, что как только для него сыщется подходящее место, он сразу же переменится.

— Ну конечно же. Конечно! — торопливо подтверждал Федор Михайлович. — Все устроится наилучшим образом. Должно устроиться!

Мария Дмитриевна благодарно пожимала ему руку, и в эти минуты он чувствовал себя счастливейшим человеком.

Впервые за много лет Достоевский не чувствовал себя одиноким. Теперь почти все свободное время писатель проводил у них: занимался с Пашей, вел пространные разговоры с подвыпившим Александром Ивановичем, а когда тот ложился спать, вполголоса говорил с Марией Дмитриевной. А еще больше он любил молчать и смотреть на нее, видеть ее склоненную к рукоделию голову. Ему казалось, что так он может просидеть вечность, что ему уже ничего на свете больше не нужно, а только так вот сидеть около любимой, видеть ее, слышать ее голос. В такие минуты он терял представление о времени, и только бой часов выводил его из этого блаженного состояния. Пора было уходить. С грустью шел Федор Михайлович домой, и

только мысль о том, что завтра он снова придет сюда, утешала его.

Все в Марии Дмитриевне нравилось ему, все привлекало: и ее необычайная впечатлительность, и ее резкие порывистые движения, и манера говорить. Она казалась ему совершенством. Спустя некоторое время Достоевский писал брату о своей возлюбленной: «Эта дама, еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным, великодушным сердцем... Что за счастливые вечера проводил я в ее обществе! Я редко встречал такую женщину»[118].

Любовь к Марии Дмитриевне Исаевой внесла в жизнь Достоевского новое содержание. Он чувствовал себя теперь в какой-то мере ответственным за судьбу близких ему людей. Писатель пытался воздействовать на Александра Ивановича, пробовал образумить его, взывал к его чести, совести. Но все было напрасно. Исаев со всем соглашался, клялся и... продолжал пить.

Сам страшно нуждаясь, Достоевский часто из своих средств помогал Марии Дмитриевне и при этом убеждал ее, что у него все есть и что отдает он ей лишнее, не нужное ему самому. Особенно внимателен Федор Михайлович был к маленькому сыну Исаевой. Он часами рассказывал ему занимательные истории, учил его читать, писать.

Знаки внимания, которые оказывал Достоевский семье Исаевых, смущали Марию Дмитриевну. Она чувствовала, что поступками Федора Михайловича руководят чувства гораздо большие, нежели простое дружеское участие. Поэтому ей казалось неудобным пользоваться даже теми мелкими услугами, которые оказывал ее семье Достоевский. Но когда Мария Дмитриевна попробовала заговорить с ним об этом, она увидела в его глазах столько муки и невысказанной печали, что продолжать не смогла. И все осталось по-старому. К тому же Марии Дмитриевне льстило внимание со стороны такого образованного человека, каким был Достоевский. Она знала, что он был в

свое время довольно известным писателем, что у него много друзей в Петербурге. И пусть пока он одет в серую солдатскую шинель, но ведь не вечно же это будет продолжаться. Дружба с Достоевским в то время, когда большинство семипалатинских обывателей отвернулось от нее, была для Марии Дмитриевны большой нравственной поддержкой. Да к тому же ей все больше и больше нравился этот молчаливый человек с осунувшимся лицом и серыми внимательными глазами.

* * *

Как-то в один из декабрьских вечеров 1854 года к Достоевскому, только что вернувшемуся из караула, постучал незнакомый опрятно одетый человек, по виду похожий на слугу из зажиточного дома. Федор Михайлович был очень удивлен, когда услышал, что его желает видеть «стряпчий по уголовным и гражданским делам». «Зачем это я ему понадобился? — подумал он. — Какое у стряпчего дело ко мне, простому солдату?»

Однако хочешь не хочешь — идти надо. Хотя стряпчий и гражданское, но все-таки начальство. А начальству Достоевский научился не прекословить. Вызывает—значит, зачем-то понадобился, значит, надо идти. Торопливо одевшись и взглянув в небольшое зеркало, все ли у него одето по форме, он вышел из дому. Приходивший сказал, что господин стряпчий остановился в доме купца Степанова, которого Достоевский немного знал. Идти надо было по направлению к Иртышу, и писатель, не переставая удивляться столь странному приглашению, зашагал к нужному дому.

— Рядовой Достоевский согласно вызову прибыл! — заученно отрапортовал Федор Михайлович, войдя в комнату, куда его привели.

Навстречу ему поднялся довольно высокий, совсем еще молодой человек с темными бакенбардами. Это был только что приехавший из Петербурга барон А. Е. Врангель, назначенный на должность окружного прокурора. Брат Достоевского Михаил Михайло-



А. Е. Врангель

вич часто встречался с ним в Петербурге и, узнав, что он отправляется в Семипалатинск, попросил его захватить для Федора Михайловича посылку с книгами, письма и деньги.

Об опальном писателе Врангель много слыхал и хорошо был знаком с его произведениями, но о деле петрашевцев знал лишь в самых общих чертах, хотя и был пять лет назад свидетелем отвратительной комедии, разыгравшейся на Семеновском плацу. Поручение Михаила Михайловича давало ему возможность познакомиться с одним из замечательных русских писателей, и поэтому он с радостью согласился его выполнить.

Разговор сначала не клеился. Врангель спрашивал — Достоевский сухо и односложно отвечал. Привыкший настороженно относиться к людям, Федор Михайлович не знал, как себя вести, не знал, как сложатся их дальнейшие отношения. К тому же ему показалось, что Врангель интересуется его жизнью только из любопытства. Но мало-помалу взаимное недоверие и холодок стали исчезать, а когда разговор коснулся литературы, они почувствовали друг к другу живейшую симпатию.

О чем только ни говорили они в этот вечер! И о Петербурге, и о новых писателях, выступивших в литературе за последние годы, и об их произведениях. Нашлись у них и общие знакомые. Было что вспомнить. Достоевский с интересом расспрашивал о международных событиях, о Крымской войне, отрывочные сведения о которой с трудом доходили до семипалатинской глуши. Расстались они далеко за полночь, обоюдно довольные новым знакомством. Один тем, что нашел в этом захолустье светлый, не сломленный каторгой и болезнью ум, другой тем, что нашел близкого человека, с которым можно многим поделиться.

Поселившись в Семипалатинске, Врангель сразу стал желанным гостем во многих домах. Чиновники и офицеры города, зная о петербургских связях нового прокурора, заискивали перед ним и наперебой зазы-

вали его к себе. Врангель не гнушался знакомством с ними, но настойчиво старался ввести в их круг и своего нового друга. Многим чиновникам казалась странной эта дружба молодого барона с опальным писателем, да и еще бывшим каторжником. Нашлись «доброжелатели», которые предостерегали от столь опасного знакомства. «Сам губернатор вскоре предостерег меня, — рассказывал Врангель, — опасаясь, ввиду моей молодости, влияния на меня Достоевского, как революционера»[119].

Однако у Врангеля был свой взгляд на это знакомство. Он очень ценил своего нового друга за ум, за независимый характер, за душевную мягкость, доброту и совершенно искренне привязался к нему. В письме к своему отцу Врангель писал: «Судьба сблизила меня с редким человеком». А спустя некоторое время говорил о Достоевском: «Я люблю его, как брата, и уважаю, как отца».

В свою очередь, Федор Михайлович в письме к Майкову давал такую характеристику Врангелю: это «человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Мы с ним сошлись, и я полюбил его очень»[120].

Достоевский не особенно стремился к расширению круга своих знакомых. Он предпочитал быть в стороне, но это не всегда удавалось. Писатель понимал, что Врангель хлопочет о нем из самых чистых и искренних побуждений, что этим он стремится оградить его от некоторых тяжелых обязанностей солдатской службы и от оскорблений, которым он нередко подвергался со стороны наиболее ретивых офицеров. Но, бывая в домах семипалатинских чиновников и военных, Достоевский старался держаться как можно незаметнее и скромнее. И многим людям, впервые встречавшим писателя в доме какого-нибудь офицера или чиновника, казался очень странным солдат с простым русским лицом, сидящий в стороне ото всех и внимательно прислушивающийся ко всему, что происходит вокруг.

Однажды Федор Михайлович был в гостях у одного из знакомых и зачем-то вышел в переднюю. В это время туда вошел офицер, тоже приглашенный хозяевами. Увидев в передней солдата, офицер молча повернулся к нему спиной, и Достоевскому ничего не оставалось делать, как снять с него шинель и водрузить ее на вешалку. Потом он вместе с тем же офицером вернулся в гостиную.

В массе своей чиновники и офицеры Семипалатинска были людьми малообразованными, малокультурными, и общение с ними ничего, кроме чувства глубокой неудовлетворенности и неприязни, в душе писателя не оставляло. Сплетни, кляузы, мелочные пересуды — вот чем они жили. Особенно раздражала Достоевского их самоуверенность, потуги судить о вещах, в которых сами ничего не понимали, стремление уподобить себе всех, кто хоть чем-то выделялся и не укладывался в привычную для них форму. Попавший в их среду должен был так же, как и они, пить, играть в карты, не говорить об умных вещах, слегка за глаза поругивать начальство, а в глаза говорить обратное и т. д. Не желавших подчиняться этим требованиям презирали, а чаще высмеивали.

Были, конечно, и среди них люди честные и порядочные, но с ними Достоевский сошелся позднее, после того, как военный губернатор области генерал Спиридонов, уступая настойчивым просьбам Врангеля, пригласил Федора Михайловича к себе.

— Ну, ну, приходи с ним! — сказал он как-то Врангелю. — Да запросто, в шинели, скажи ему.

Достоевский произвел на Спиридонова очень благоприятное впечатление, и тот пригласил Федора Михайловича бывать у него чаще. Здесь-то и познакомился писатель со многими наиболее интересными людьми Семипалатинска. Вскоре он стал частым гостем в доме городского судьи Пошехонова, бывшего гвардейского офицера, еще не потерявшего светского лоска, человека радушного и хлебосольного. Близко сошелся писатель с бывшим ссыльным поляком Ордынским, который, отбыв каторжные работы в Усть-

Каменогорске и солдатчину в Семиречье, поселился в Семипалатинске, где служил в должности смотрителя провиантских магазинов. У Ордынского Достоевский бывал довольно часто, пользуясь его домом как своего рода рабочим кабинетом, в котором просиживал целыми днями, а иногда прихватывая и часть ночи.

Среди людей, которым симпатизировал Федор Михайлович, были командир казачьей бригады Хоментовский, горный ревизор Ковригин — человек приятный и образованный, а также адъютант военного губернатора Демчинский — малый пустой и к тому же фат. Но к Достоевскому он относился хорошо и оказывал ему немало услуг.

Многие чиновники считали, что, введя в свой дом бывшего каторжника, а ныне солдата Достоевского, они тем самым оказывали ему величайшую честь. Но писатель, несмотря на свое щекотливое общественное положение, держал себя с необычайным достоинством. По словам Врангеля, он никогда «не проявлял ни малейшего заискивания, лести, желания проникнуть в общество и... был в высшей степени сдержан и скромен. Благодаря своему такту он... пользовался всеобщим уважением»[121].

Судя по воспоминаниям современников, жизнь в Семипалатинске поражала скукой и однообразием. Вести из России приходили редко и с большим опозданием. Почта доставлялась только один раз в неделю. Газеты и журналы выписывали единицы. Развлечений тоже никаких не было. В семипалатинское захолустье не заглядывали даже балаганы и фокусники, не говоря уже о музыкантах. Правда, однажды писаря батальона устроили в манеже представление, а Достоевскому снова, как когда-то на каторге, пришлось выступить в роли режиссера. Но кончилось все это скандалом. В антракте солисты-писаря, думая позабавить публику, спели такие непристойные куплеты, что дамы в ужасе поспешили убраться восвояси. Зато господа офицеры были очень довольны, и вслед убегавшим дамам слышался их громкий гогот.

Чаще всего офицеры и чиновники по очереди ходи-

ли друг к другу в гости, пили, ели, играли, скандалили, а их жены сплетничали. Все это было органически чуждо Достоевскому, и он пользовался малейшим предлогом для того, чтобы избежать присутствия на подобных сборищах. Особенно невыносимым был для него вид пьяных людей, и он всегда с горечью говорил:

— Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других.

Только в доме Исаевых писатель чувствовал себя хорошо и покойно. Здесь отдыхал он от тягот солдатской службы и от пошлости так называемого семипалатинского общества. Желая хоть немного скрасить затворническую жизнь Марии Дмитриевны, которую та в последнее время вела, Достоевский познакомил ее со своим новым приятелем Врангелем. И теперь часто они вдвоем проводили целые вечера у Исаевых.

В присутствии Врангеля Мария Дмитриевна преображалась. Ей не хотелось ударить лицом в грязь перед столичным гостем. Она старалась сделать так, чтобы ее гости не скучали. И ей это удавалось. Мария Дмитриевна умела завести интересный разговор, вставить удачное замечание, а когда это требовалось, и помирить слишком уж разошедшихся спорщиков. Врангель с удовольствием бывал у Исаевых, так как ему стали уже надоедать пьяные компании семипалатинских офицеров и чиновников. К тому же он видел, что Достоевскому было приятно, когда они вместе приходили к Марии Дмитриевне.

* * *

Весна 1855 года выдалась на редкость ранняя. Уже в начале апреля сошел снег и солнце целыми днями не покидало бездонно-голубого неба. С первыми теплыми днями жизнь в городе сделалась невыносимой. Под палящими лучами солнца песок на улицах накалялся так, что жег кожу сквозь обувь. Духота стояла страшная. В полдень семипалатинские обыватели предпочитали отсиживаться по домам, закрыв окна глухими ставнями. Только в восточной ча-

сти города жизнь почти не замирала. Двигались пестрые караваны, груженные всякого рода товарами, сновали смуглые люди в пестрых восточных одеждах, слышалась разноголосая речь.

Еще до наступления тепла Врангель решил на лето выехать за город. Для этой цели он облюбовал на правом берегу Иртыша, невдалеке от Семипалатинска, старый деревянный дом. Место это называлось «Казаков сад» и было самым зеленым в окрестностях города. Вместе с собой Врангель предложил поселиться Достоевскому, предварительно испросив разрешение на это у военного начальства. Федор Михайлович с восторгом принял приглашение. Это как нельзя лучше устраивало его. Военные лагеря, где он проходил службу, находились рядом, а свободное от учений и караулов время он имел возможность провести так, как ему хотелось.

Давно писатель не испытывал такого пьянящего чувства радости, как теперь. Он готов был часами смотреть на изумрудный ковер свежей зелени, покрывший бескрайние степные просторы, мог часами наблюдать, как едва колышется зеркальная гладь пруда от прилива маленьких родничков и ручейков, целой стайкой несших ему свою хрустально-чистую воду. В пруд этот, расположенный неподалеку от дома, Врангель и Достоевский пустили молодь рыбы и даже небольшого осетра. И неподвижное зеркало воды теперь часто всплескивал небольшой бурун, образуемый острым плавником резвящегося осетра. А тишина кругом стояла удивительная. Только птицы деловито щебетали и прыгали по ветвям огромных деревьев, росших вокруг дома.

Все свободное время Федор Михайлович копался в огороде: устраивал гряды, сажал овощи, поливал их. Врангель выписал из России такое множество всяких семян овощей и цветов, что их хватило не только для огорода, но и для огромного цветника, который приятели разбили вокруг дома. Свежий воздух, здоровый физический труд укрепили очень пошатнувшееся за последнее время здоровье Достоев-

ского. Он стал лучше выглядеть, припадки падучей реже беспокоили его.

Хорошо было после целого дня, проведенного на воздухе, сидеть за самоваром и говорить, говорить. Они вели бесконечные разговоры о новостях, полученных из Петербурга, о только что прочитанных произведениях, гадали о том, какие изменения произойдут во внешней и внутренней политике России после смерти Николая I, известие о которой было недавно получено в Семипалатинске, и т. п. Иногда в разговоре Врангель как будто невзначай касался вопроса о политических процессах, которые устраивало царское правительство над передовыми деятелями русского освободительного движения, надеясь, что Федор Михайлович расскажет о своем участии в кружке петрашевцев. Но Достоевский обычно отмалчивался. «О процессе своем, — вспоминал позднее Врангель, — он как-то угрюмо молчал, а я не расспрашивал. Знаю и слышал от него только, что... политический переворот в России пока немыслим, преждевременен, а о конституции по образцу западных — при невежестве народных масс и думать смешно»[122]. В этих рассуждениях уже звучало неверие в творческие силы народа, в его способность сокрушить самодержавие. Вместе с тем Достоевский пока еще не отвергает революционный путь преобразования действительности. Он только считает, что пока его произвести не представляется возможным, что это дело будущего. К западноевропейским конституциям Достоевский уже тогда относился очень скептически. Читая европейские газеты, знакомясь с произведениями зарубежных авторов, он не мог не видеть того, что там, наряду с пресловутыми «демократическими» свободами, господствует такое же угнетение и порабощение человеческой личности, которое он наблюдал в России. В этом писатель воочию убедился во время своих поездок за границу после возвращения из Сибири.

Книги были неразлучными спутниками друзей. Куда бы они ни отправлялись, их неизменно сопровождала книга. Они по очереди вслух читали «Записки

об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника» Аксакова, спорили о произведениях Гоголя, Гюго, которые были любимыми авторами Достоевского. Зная, как мастерски он читает Пушкина, Врангель часто просил его что-нибудь продекламировать. Чаще других произведений Федор Михайлович читал «Пир Клеопатры» из «Египетских ночей». Читал он действительно замечательно. Недаром позднее литературные вечера, на которых выступал Достоевский, собирали огромную аудиторию.

С пристальным вниманием следил писатель за состоянием и развитием современной литературы. Он отлично понимал, что за те четыре с лишним года, в течение которых он был оторван от умственной жизни своей страны, многое должно было измениться. И действительно, за это время было опубликовано множество новых произведений, в литературе появились новые имена, совсем другие мысли и идеи волновали теперь читающую публику.

И Достоевский спешит наверстать упущенное. Он жадно читает все, что ему попадается под руку. В письмах к брату он настойчиво просит прислать ему больше книг. «...Книги — это жизнь, пища моя, моя будущность!»[123] — говорил Федор Михайлович.

Круг интересов Достоевского всегда был очень широк, но теперь ему хочется особенно много знать. Он систематически читает новейшую периодическую литературу, произведения знакомых и незнакомых авторов, просматривает журналы за последние годы. «...Я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу»[124],—вспоминал писатель позднее. Но это ему кажется недостаточным, и он просит брата прислать ему сочинения немецких философов Канта и Гегеля, книги «...европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д...)»[125].

Достоевский читал все книги и журналы, которые присылал ему из Петербурга брат, пользовался скромной библиотекой Врангеля, брал книги у А. И. Бахи-

рева, брата командира роты, в которой служил. «Но все-таки нет книг, и даже нужных книг, а время уходит»[126], — жаловался Федор Михайлович поэту А. Н. Майкову, своему петербургскому товарищу.

Знакомясь с новейшими произведениями русских писателей, внимательно читая литературно-критические статьи, Достоевский не мог не видеть того, что в русской литературе и эстетике к середине 50-х годов ясно наметился перелом, свидетельствовавший о начавшемся процессе демократизации литературы, о все более обострившейся борьбе между сторонниками так называемого «чистого искусства» с представителями материалистической эстетики.

Достоевский никогда не был пассивным созерцателем литературного процесса, никогда не был писателем, стоявшим в стороне от решения важнейших вопросов как общественной, так и литературной жизни. И поэтому ему как можно скорее хочется окунуться с головой в литературную борьбу. В письмах к брату и к своим друзьям он не только интересовался литературными новостями, но и сам высказывал суждения о только что прочитанных книгах, о творчестве отдельных писателей, говорил об ответственности художника перед читателем, о необходимости бережного отношения писателя к своему дарованию. Этими мыслями ему хочется поделиться с широкими читательскими кругами. Он мечтал написать большую статью «Письма об искусстве» и даже начал работать над ней.

Позднее Достоевский предполагал написать целую серию статей, посвященных современному состоянию русской литературы, но и этому замыслу не суждено было осуществиться. В письме к брату от 3 ноября 1857 года он сообщал: «Хотел было я, под рубрикой «писем из провинции» начать ряд сочинений о современной литературе. У меня много созревшего на этот счет, много записанного, и знаю, что я обратил бы на себя внимание. И что же: за недостатком материалов, т. е. журналов за последнее десятилетие — остановился»[127].

Интересно отметить, что именно с опубликования литературно-критических статей Достоевский предполагал возобновить свою прерванную каторгой писательскую деятельность. Он думал, что свое вступление в литературу лучше начать «серьезной статьей (об искусстве) и на нее просить разрешения печатать; ибо на роман до сих пор смотрят, как на пустяки»[128]. Однако спустя год в письме к Е. И. Якушкину от 1 июня 1857 года он говорил иначе: «Скажу вам без обиняков, что у меня давно уже определено, с чего начинать, и с другого я не начну, хотя и есть кое-что другое, но кроме романа и повести, я ни с чего другого не начну»[129].

Но главное, о чем заботится сейчас Достоевский, это, конечно, о том, чтобы ему разрешили публиковать свои произведения. Ему неважно, с чем он предстанет перед читателем, будет ли это статья об искусстве, роман или повесть.

Он пробует начать писать. Но работает беспорядочно, несистематически. Первое время мешают непривычная казарменная обстановка, непосильная для больного писателя, тяжелая солдатская служба и, наконец, отсутствие связи с тогдашним литературным миром. «...Пописываю какими-то порывами и урывками»[130], — говорил он в письме к Е. И. Якушкину. Значительно осложняет и без того трудную жизнь Федора Михайловича начавшийся роман с М. Д. Исаевой. Но писать хочется, хочется забыться, уйти от этой жизни в мир мыслей и чувств своих героев, вместе с ними страдать, любить, надеяться и ненавидеть. Достоевский пополняет новыми материалами свою «Сибирскую тетрадь», начинает понемногу систематизировать и записывать воспоминания о страшных годах, проведенных в «мертвом доме». «В часы, когда мне нечего делать, — делился Федор Михайлович с А. Н. Майковым, — я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания на каторге, что было полюбопытнее»[131]. Это, конечно, еще не были «Записки из мертвого дома» в том виде, в каком они появились несколько лет спустя, но это свидетельствует о том,

что первоначальные наброски и отдельные эпизоды создавались писателем в первые годы пребывания в Семипалатинске. Это подтверждает и А. Е. Врангель в своих «Воспоминаниях», где он писал о том, что Достоевский работал над «Записками из мертвого дома»* уже летом 1855 года и ему «первому выпало счастье видеть Федора Михайловича в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения»[132].

Создавая отдельные эпизоды «Записок из мертвого дома», фрагменты статей об искусстве и литературе, Достоевский в это же время приступает к работе и над другими произведениями. Еще на каторге он в течение нескольких лет обдумывал «большую повесть», о чем сообщал в письме к Майкову от 18 января 1856 года. Когда писатель приступил к воплощению своего замысла, осталось невыясненным. Но весьма вероятно, что план повести и отдельные куски были написаны вскоре после выхода из каторги, хотя Достоевский и говорил, что отложил пока работу над ней «в сторону», т. к. «нужно более спокойствия духа».

Одновременно писатель сообщал о начале работы над комедией, которая затем переросла, по его словам, в «комический роман»: «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц, и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как мо-

---

* В настоящей книге не дается специального анализа одного из самых замечательных произведений Достоевского, его «Записок из мертвого дома», хотя эта книга и непосредственно связана с Сибирью, отражает многие сибирские впечатления писателя; рассказывает о его думах и переживаниях на каторге. Но создавалось это произведение не в сибирский, а в более поздний период творчества Достоевского. Основная работа над «Записками» протекала в период 1860 годов, т. е. уже после возвращения писателя из Сибири. Кроме того, в последнее время появилось много интересных исследований, посвященных «Запискам из мертвого дома».

Все это, на наш взгляд, делает нецелесообразным включение в книгу отдельного раздела о «Записках».

жно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман, но до сих пор все писал отдельные приключения, написал довольно, теперь все сшиваю в целое»[133]. Несколько позднее о своем романе Достоевский сообщает некоторые любопытные подробности: «Роман мой влек меня к себе. Это сочинение очень большое. Роман комический, началось с шуточного, и составилось то, чем я доволен. Будут очень и очень хорошие вещи в нем...»[134]

Работа над «комическим романом» продолжалась. Он обрастал все новыми и новыми материалами и, по свидетельству писателя, принял «размеры огромные» и сложился «превосходно». Как-то само собой случилось, что эпитет «комический» отпал и свое произведение Достоевский стал называть просто «большим» романом.

В это же время Достоевский работает над какой-то «небольшой повестью», которую позднее предполагал послать в журнал М. Каткова «Русский вестник», а также задумывает множество других произведений. Однако в первые годы своей жизни в Семипалатинске ничего законченного он так и не создал. Отдельные фрагменты и наброски произведений, написанных в Сибири, Достоевский позднее включил во многие свои романы и повести.

* *

Живя в Семипалатинске, Достоевский внимательно присматривался к жизни татарской части города и его окрестностей. Часто вместе с Врангелем верхом на лошадях они совершали поездки в отдельные казахские кочевья, куда их приглашали для участия в различных национальных праздниках и спортивных развлечениях. Бывая в казахских аулах, писатель имел возможность познакомиться с нравами и обычаями местных жителей, расспрашивал их о жизни в степи, слушал их старинные песни и предания. Его все больше и больше начинала увлекать история

этого края. Он начал собирать памятники старины, и, по воспоминаниям З. А. Сытиной, у него составилась довольно большая коллекция, где были браслеты, серьги, кольца, обломки стрел и ножей, различные изделия из меди, железа и серебра. Все это писатель перед отъездом подарил своему бывшему ротному командиру А. И. Гейбовичу, с которым находился в близких дружеских отношениях.

О местном крае Федору Михайловичу много рассказывал командир казачьей бригады полковник Хоментовский, который немало поездил по обширной казахской степи и прекрасно был осведомлен обо всех событиях, происходивших в ней.

Степь в то время жила очень напряженной жизнью. Повсюду то тут, то там происходили схватки между казахами, принявшими русское подданство, и казахами, кочевавшими по территории, принадлежащей Китаю. «...В наших местах, в степи, — рассказывал А. Е. Врангель, — не совсем-то было спокойно. Орда волновалась... Хан ташкентский выставил десять тысяч всадников на реку Чу и подступал к Алматам (теперь Верное), нашему крайнему посту на южной границе... Наши лазутчики и тайные агенты в Ташкенте, Кокане, Бухаре и Хиве из «чало-казаков» уверяли, что агенты англичан и турок подымают все ханство против нас»[135].

В сложной обстановке, сложившейся в степи, ориентироваться было очень трудно, и Достоевский пользовался любым случаем для того, чтобы узнать что-нибудь новое о крае, в котором жил. И чем больше он знакомился с его жизнью, тем все больше и больше убеждался в том, как много нужно сделать для этого благодатного, но отсталого края*. Поэтому писатель возлагал огромные надежды на таких людей, как Чокан Валиханов, с которым познакомился еще в Омске, когда жил в доме Ивановых, а потом встречался в Семипалатинске.

---

* Более подробно об отношении Ф. М. Достоевского к Казахстану см. в книге М. Н. Фетисова «Литературные связи России и Казахстана». АН СССР, М., 1956.

Чокан Валиханов был первым казахским просветителем, замечательным ученым и высокообразованным человеком. Достоевский познакомился с ним, когда тому было всего девятнадцать лет и он только еще начинал свою научную и просветительскую деятельность. Но уже тогда писатель увидел в нем человека незаурядного и талантливого, перед которым должно открыться большое будущее. Федор Михайлович горячо привязался к Валиханову. И тот отвечал писателю тем же, так как видел в Достоевском выдающегося деятеля великой русской литературы, которую безгранично любил и перед которой преклонялся. Кроме того, Валиханов ценил в своем друге необычайно чуткого и отзывчивого человека. Вот что он писал Достоевскому после встречи с ним в Семипалатинске: «Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это ни к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю»[136].

О многом беседовал Федор Михайлович со своим молодым другом, когда тот навестил его в Семипалатинске, и лишний раз убедился в том, что имеет дело с человеком незаурядным. Писателя привлекала в нем глубокая любовь и преданность своему народу, своей родной степи, его страстное желание быть полезным своей родине, его глубокий гуманизм, отзывчивость и широкая образованность. После отъезда Валиханова Достоевский много думает о нем и о его дальнейшей судьбе. «Я так Вас люблю, — писал он своему молодому другу, — что мечтал о Вас и о судьбе Вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу Вашу»[137]. Деятельность Валиханова, в сознании писателя, была неотъемлема от борьбы за лучшее будущее пока еще темного, неграмотного и отсталого казахского народа. Он хотел видеть Валиханова в роли просветителя, призванного поведать передовому обществу России о своей угнетенной и обездоленной родине, о тяжелой жизни своего многострадального на-

рода. «Лет через семь-восемь, — говорил Федор Михайлович своему другу, — Вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей родине. Наприм.: не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине, просвещенным ходатайством за нее у Русских. Вспомните, что Вы первый Киргиз, — образованный по Европейски вполне»[138].

Отвечая на просьбу Валиханова помочь ему определить направление своей деятельности, посоветовать, с чего ему начать и что предпринять, Достоевский с глубокой заинтересованностью писал: «По-моему, вот что: не бросайте заниматься. У вас есть много материалов. Напишите статью о Степи. Ее напечатают (помните мы об этом говорили). Всего лучше, если б вам удалось написать нечто в роде своих Записок о степном быте, вашем возрасте там и т. д. Это была бы повесть, которая заинтересовала бы всех. Так было бы ново, а Вы, конечно, знали бы, что написать (наприм. вроде Джона Тиннера *, в переводе Пушкина, если помните). На Вас обратили бы внимание и в Омске, и в Петербурге. Материалами, которые у Вас есть, Вы бы заинтересовали собою Географическое общество»[139].

Все, о чем говорил Федор Михайлович, сбылось. Только это случилось не через семь-восемь лет, как предполагал писатель, а гораздо раньше. Уже к концу 50-х годов Чокан Валиханов стал подлинным выразителем стремлений и надежд своего народа, заложил демократические основы развития общественных идей в Казахстане. Он написал целый ряд очерков и исследований о своем народе, а также о других народах Средней Азии, которые сделали его имя известным не только в России, но и далеко за ее пределами.

В советах Достоевского молодому казахскому ученому нельзя не ощутить глубокой заинтересованности

---

* Ф. М. Достоевский имел в виду статью А. С. Пушкина «Джон Теннер».

великого писателя в судьбе угнетенных и порабощенных народов, его стремление наметить пути выхода этих народов на широкую дорогу просвещения и прогресса. Несомненно и то, что Достоевский не мыслил себе будущего казахского народа вне связи с великим русским народом, поэтому он настойчиво рекомендует Валиханову «растолковать России» значение для нее будущего Степи и места казахов в будущей великой семье народов.

Дружба великого русского писателя с выдающимся деятелем казахского народа является знаменательным фактом в истории развития русско-казахских связей. Эта дружба свидетельствовала о пристальном внимании лучших представителей России к нуждам закабаленных народов и в то же время говорила о естественной тяге наиболее прогрессивных сил этих народов к передовой русской культуре и науке.

Дружеские отношения Достоевского с Валихановым продолжались и после возвращения писателя из сибирской ссылки. Валиханов часто писал Достоевскому, сообщал ему о своих делах, о научных занятиях. Позднее друзья встретились в Петербурге, где писатель познакомил казахского ученого со многими деятелями русской литературы. Но к тому времени их взгляды уже во многом были различны. Валиханову были чужды идеи «почвенничества», провозглашенные тогда Достоевским. В них казахский ученый увидел стремление сгладить и затушевать классовые противоречия, существующие в обществе, ему была непонятна половинчатая позиция писателя, которая, как он говорил, «то славянофильством пахнет, то западничеством крайним»[140]. Это свидетельствовало о том, что Валиханов в начале 60-х годов по своим убеждениям ближе стоял к лагерю революционной демократии во главе с Чернышевским, нежели ко взглядам Достоевского. Все это, конечно, ни в коей мере не снижает того значения, которое имела для формирования мировоззрения Валиханова дружба с Достоевским. И пусть пути их позднее разошлись, пусть по существу они оказались в различных лагерях, но друг о друге

они навсегда сохранили самые теплые и дружеские воспоминания.

— Через неделю мы уезжаем, — сказала Мария Дмитриевна зашедшему навестить ее Достоевскому.

Он почувствовал, как внутри у него как будто что-то оборвалось. Он смотрел на Исаеву и не мог понять, правду ли она говорит или шутит.

— Да, мы едем в Кузнецк, — торопливо проговорила Исаева, — там Александру Ивановичу дали место, и мы едем. Надо ехать, — добавила она упавшим голосом.

«А я? Что со мной-то будет? — тоскливо подумал Федор Михайлович. — Как буду жить без нее?»

Нет, все это пока не укладывалось в его сознании. Любимая едет куда-то далеко-далеко. Зачем? Он не хотел думать о том, что вот уже несколько месяцев, как Александр Иванович потерял службу, что семья Исаевых все это время жила чуть ли не впроголодь. Он позабыл, что у него самого сердце обливалось кровью, глядя на героические усилия Марии Дмитриевны свести концы с концами. Сейчас обо всем этом не хотелось вспоминать. Главное было то, что любимая едет, едет, не зная, что ожидает ее там, на новом месте. Ведь там у нее не будет ни друзей, ни знакомых, не будет человека, который смог бы ее защитить, оградить от насмешек и оскорблений.

Все дни, предшествовавшие отъезду Исаевых, Федор Михайлович провел как в чаду. Ему казалось, что теперь незачем жить, что он навсегда теряет ту, которую так горячо любил.

Наступил день отъезда. С утра Достоевский был в карауле, а когда освободился и пришел к Исаевым, то увидел, что вещи уже сложены, а Александр Иванович и Мария Дмитриевна, с беспокойством поглядывая на окна, ожидали подводу.

День уже клонился к вечеру, когда на улице загремела наконец открытая перекладная телега (на кибитку не хватило денег). Быстро уложили вещи и тронулись. По пути заехали к Врангелю и по сибир-

скому обычаю за благополучную дорогу выпили шампанского. Причем, как обычно, Александр Иванович переусердствовал и едва дошел до экипажа Врангеля, в который улегся и тотчас заснул.

Федор Михайлович ехал вместе с Марией Дмитриевной. Говорить не хотелось. Он только смотрел на любимую и изредка осторожно касался ее руки. Пришло время расстаться. Как ни крепился Достоевский, но сдержать слез так и не сумел. Плакала и Мария Дмитриевна. Врангель с помощью Достоевского перетащил пьяного и сонного Исаева в телегу. Влюбленные обнялись в последний раз, и лошади тронули. Долго безмолвно смотрел Федор Михайлович вслед удалявшемуся экипажу, пока наконец вдали не стих почтовый колокольчик и повозка не растаяла в черных сумерках.

После отъезда Исаевых Достоевский затосковал. Все вокруг было немило, все раздражало, все было постыло. Все его мысли были там, в далеком Кузнецке. Ни на одну секунду не переставал он думать о своей любимой: чуть ли не с каждой почтой отправлял ей обширные послания, которые своим видом напоминали объемистые тетради. К сожалению, изо всей этой обширной переписки сохранилось лишь одно письмо, но и оно позволяет судить о характере писем Федора Михайловича и Исаевой.

В своих посланиях, написанных пылко, горячо, страстно, Достоевский как будто спешит, торопится высказаться. Ему хочется сказать все сразу, все кажется чрезвычайно важным, а главное, ему хочется говорить и говорить с той, кому принадлежало его сердце. Он полон тревоги за ее судьбу, хочет успокоить, подбодрить, но это ему плохо удается. Ибо он в отчаянии, ибо все вокруг напоминает ему о разлуке, и он не в силах с ней примириться. Федор Михайлович припоминает встречи, вечера, проведенные в доме Исаевых, снова и снова говорит о том, как дорого было для него «женское сострадание, женское участие», которым его окружила Мария Дмитриевна. Сам того не замечая, писатель в письмах к своей возлюбленной

начинает говорить языком Макара Девушкина, героя повести «Бедные люди». «Я до сих пор за вас в ужаснейшем страхе, — пишет он Исаевой. — Только об вас и думаю. К тому же, вы знаете, я мнителен; можете судить о моем беспокойстве. Боже мой! Достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дрязги, вас, которая может служить украшением всякого общества. Распроклятая судьба!»[141].

Между тем письма из Кузнецка приходили редко. Мария Дмитриевна скупо сообщала о болезни мужа, о нужде, которая по-прежнему была уделом их семьи, о своем одиночестве, о невозможности ни с кем обменяться живым словом, посоветоваться, отвести душу. А тут еще в письмах все чаще и чаще стало упоминаться имя Вергунова, товарища Александра Ивановича, о котором Мария Дмитриевна восторженно писала как о благородном и отзывчивом человеке.

К тревоге за судьбу любимой примешалось теперь и жгучее чувство ревности. С грустью смотрел Врангель на страдания своего друга. Но как помочь ему? Что мог он сделать?

Выход нашелся. Врангель решил устроить Достоевскому свидание с Марией Дмитриевной в Змиеве, расположенном приблизительно на полпути между Семипалатинском и Кузнецком. Федор Михайлович с восторгом принял предложение своего приятеля. Однако о том, чтобы поехать на свидание официально, не могло быть и речи. Достоевскому не разрешали отлучаться в столь дальние поездки. О предполагавшемся свидании никто не должен был знать. Все приготовления велись в строжайшей тайне. В Кузнецк полетело письмо с указанием времени и места свидания, а по городу был распущен слух, что Федор Михайлович тяжело заболел и лежит на квартире Врангеля. Об этом же было сообщено начальству. В тайну был посвящен только военный врач Ламотт, бывший политический ссыльный, человек честный и порядочный. Он с готовностью подтвердил версию о мнимом заболевании Достоевского. Для большей убедительности ставни в доме Врангеля решили не открывать, а ка-

мердинеру было приказано никого не принимать, объясняя это тяжелым состоянием больного.

Наступил назначенный день. Он тянулся особенно долго. Едва стемнело, все было готово. Вместе с Достоевским поехал и Врангель. Всю ночь они гнали лошадей, экономя время на каждом привале. И каково же было их разочарование, когда они узнали, что Мария Дмитриевна не смогла приехать! В небольшой записке она сообщала, что ее муж тяжело заболел и оставить его она не может.

Совершенно подавленный, возвратился Федор Михайлович обратно. Снова потянулись бесконечные дни, снова шел он на почту, надеясь получить от своей любимой хоть короткую весточку. По-прежнему терзался он неведением о ее жизни в Кузнецке, все чаще в голову приходила мысль о том, что она забыла его.

С помощью Врангеля Достоевский повторил попытку встретиться с Марией Дмитриевной. Врангель попросил для своего друга официальное разрешение для посещения Змиева якобы для того, чтобы погостить у знакомых инженеров. Но и на этот раз Мария Дмитриевна приехать не смогла и даже не прислала письма.

Опять в голову полезли самые невероятные предположения. Достоевскому начинает казаться, что он никогда не встретится со своей возлюбленной, а если так, то и жизнь представлялась ему ненужной.

Шло время. Тоска не покидала Федора Михайловича. Он стал угрюм, раздражителен. Ничто не радовало его, даже работа над «Записками из мертвого дома», еще совсем недавно так увлекавшая его, не доставляла никакого удовольствия. Ему казалось, что получается совсем не то, что нужно, и вскоре он совсем забросил свое произведение.

* * *

В начале июня 1855 года тусклую и однообразную жизнь Семипалатинска нарушило известие о приезде генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорта. На-

чались усиленные строевые занятия. По нескольку часов Достоевский вместе с другими солдатами, задыхаясь от нестерпимой жары, снова и снова шагал по пыльному плацу. Бессмысленная шагистика всегда раздражала писателя. Она выматывала последние силы, сушила мозг, притупляла чувства. Однако на этот раз Федор Михайлович старался не обращать на это внимания. Голова его была занята совсем другим. Приезд генерал-губернатора вновь воскресил в нем надежду испросить себе помилование. В свое время он уже попробовал это делать. Однако первая попытка вымолить себе прощение «патриотическими» стихами, предпринятая полтора года назад, окончилась неудачей. Но она не обескуражила писателя. Он твердо верил, что это наиболее верный путь и всего скорее может привести к желанным результатам. Поэтому Достоевский надеялся использовать приезд Гасфорта для того, чтобы передать ему недавно написанное стихотворение «На 1 июля 1855 года», посвященное вдовствующей императрице и приуроченное ко дню ее рождения.

Наконец генерал-губернатор в сопровождении огромной свиты прибыл в Семипалатинск. Федор Михайлович попросил Врангеля передать Гасфорту написанные стихи с тем, чтобы тот передал их императрице. Но Гасфорт, выслушав просьбу Врангеля, заявил:

— За бывших врагов правительства никогда я хлопотать не буду; если же в Петербурге сами вспомнят, то я противодействовать не стану.

Отказ не смутил Достоевского. Он решил действовать иначе. Писатель попросил А. Иванова, адъютанта начальника 24-й пехотной дивизии Дометти, с которым только что познакомился, передать написанное им стихотворение своему генералу, чтобы тот, в свою очередь, представил его Гасфорту. Но, как рассказывает в своих воспоминаниях Иванов, несмотря на горячую рекомендацию Дометти, Гасфорт и на этот раз отказался представить произведение опального писателя императрице. Он заявил, что «стихотворство не

солдатское дело, что не следует поощрять этого пустомельства», и договорился до того, что назвал литературу злом, а литераторов злодеями[142]. Но в конце концов Гасфорт все-таки вынужден был уступить настоятельным требованиям Дометти и обещал представить стихи военному министру. Свое обещание Гасфорт выполнил и в рапорте на имя военного министра писал, что стихотворение Достоевского «по теплоте патриотических чувств обратило на себя мое особенное внимание». В рапорте, кроме того, говорилось, что Достоевский «постоянно ведет себя и служит хорошо, глубоко раскаиваясь в содеянном преступлении» и что Гасфорт просит «исходатайствовать всемилостивейшее соизволение на производство его в унтер-офицеры, дабы сим поощрить его доброе поведение, усердную службу и непритворное раскаяние в глубоком заблуждении молодости»[143].

Стихотворение «На 1 июля 1855 года» точно так же, как и первая ода Достоевского, теснейшим образом связано с произведениями «патриотической» литературы того времени, в частности со стихами, посвященными восхвалению зловещей фигуры Николая I. По своему идейному содержанию она мало отличается от мутного потока верноподданнической поэзии, в изобилии заполнявшей страницы официальных газет и журналов. Новое стихотворение Достоевского тоже было данью времени, моде, настроениям тогдашних официальных кругов и отнюдь не являлось выражением подлинных чувств и мнений писателя. Это подтверждается хотя бы таким примером. Ни в одном письме обширной сибирской переписки писателя нет ни одного слова об умершем императоре. И в течение всей своей жизни Федор Михайлович почти всегда обходил молчанием личность Николая I.

Главное внимание Достоевский уделяет восхвалению императрицы, о которой он, по всей вероятности, знал только то, что ее зовут Александра Федоровна. Безудержные похвалы, расточаемые по ее адресу, ни к чему не обязывали писателя, а в конечном итоге могли оказать ему важную услугу. Так оно и получилось.

Интересной особенностью стихотворения «На 1 июля 1855 года» является то, что в нем отразились особенности художественного почерка Достоевского. Так, он очень часто прибегает к повторению отдельных слов и целых словосочетаний. Кроме того, в этом произведении гораздо более ярко, нежели в других сибирских стихотворениях, нашла отражение личность осужденного писателя. Следует иметь в виду, что в стихотворении «На 1 июля 1855 года», помимо основного плана, имеется второй, подводный, скрытый план, и там Достоевский, вольно или невольно, раскрывает свои мысли и чувства, говорит о прежних своих убеждениях, в которые искренне верил, которые теперь во многом пересмотрел, но к которым попрежнему лежит его сердце.

О! Тяжело терять, чем жил, что было мило,
На прошлое смотреть, как будто на могилу...

восклицает писатель. И ни в одной строке стихотворения мы не найдем даже намека на то, что он раскаивается в прошлом, что он осуждает прежние свои взгляды.

Таким образом, стихотворение «На 1 июля 1855 года» нельзя рассматривать как произведение, где выражены только верноподданнические чувства, как это делают некоторые исследователи* . Здесь, несомненно, отразились многие подлинные настроения писателя, его еще до конца не определенные позиции в это время и, наконец, глубокое уважение к своему прошлому.

Вместе с тем, нельзя не отметить и того, что в целом новое произведение Достоевского было художественно слабым. В нем нет ни ярких образов, ни подлинной поэзии. Недаром брат писателя М. М. Достоевский, сам бывший литератором и неплохим поэтом, в одном из писем в Сибирь писал: «Читал твои стихи

---

* См. статью Л. Гроссмана «Гражданская смерть Ф. М. Достоевского («Литературное наследство». Т. 22—24, М.—Л., 1935).

и нашел их очень плохими. Стихи не твоя специальность»[144]. Это понимал и сам писатель. Но что ему оставалось делать! Ждать уже не было сил. Вынужденное шестилетнее молчание становилось невыносимым. Ради того, чтобы получить свободу, чтобы иметь возможность печататься, он создает чуждые ему как по духу, так и по форме произведения.

Надежды, возлагаемые Достоевским на «патриотические» стихи, на этот раз оправдались. 24 сентября 1855 года аудиториатский департамент, в свое время приговоривший писателя и его товарищей-петрашевцев к смертной казни, сообщил, что не видит препятствий для смягчения участи Достоевского. А спустя 2 месяца новый царь Александр II «всемилостивейше повелеть соизволил: рядового Сибирского линейного № 7 батальона Федора Достоевского... произвесть в унтер-офицера, во внимание к хорошему его поведению и усердной службе»[145].

Все это произошло несколько позже. Пока стихотворение писателя вместе с ходатайством Гасфорта ходило по инстанциям в Петербурге, в жизни Достоевского произошли немаловажные события.

* * *

Вот уже больше двух недель Кузнецк молчал. Одно за другим Достоевский посылал туда письма, полные упреков и любви, но Мария Дмитриевна не отвечала. И вдруг совершенно неожиданно от нее пришло отчаянное письмо. Мария Дмитриевна писала, что скончался муж, что она теперь осталась совсем одна среди чужих людей. Она рассказывала о последних днях Александра Ивановича, о том, что все это время она не отходила от него и теперь чувствует себя совсем больной, потеряла сон и куска хлеба съесть не может. Но самое страшное было другое — умершего мужа не на что было похоронить. «Похоронили; бедно, на чужие деньги, — с горечью писала она. — Кто-то прислал... три рубля серебром. Нужда руку толкала принять и приняла... подаяние!»[146].

Как только мог, Достоевский старался успокоить несчастную женщину. Он написал письмо к Врангелю,

уехавшему по делам в Барнаул, в котором умолял послать от своего имени немного денег Марии Дмитриевне, так как у него самого ничего нет. Ему кажется, что Врангель недостаточно деликатно выполнит его просьбу, и он говорит, как это лучше сделать. «С человеком одолженным надо поступить осторожно, — пишет Федор Михайлович своему приятелю, — он мнителен, ему так и кажется, что небрежностью с ним, фамильярностью хотят заставить заплатить за одолжение, ему сделанное!»[147]

Глубоко сочувствуя несчастной женщине в постигшем ее горе, Достоевский в то же время не мог не думать и о том, что теперь он может соединиться с любимой. Федор Михайлович мысленно уже представлял тот день, когда Мария Дмитриевна войдет навсегда в его дом и станет в нем хозяйкой, а он, измученный, больной, обретет наконец покой и счастье.

Мария Дмитриевна, казалось, разделяла его надежды, но ничего определенного не говорила. Да и сам Достоевский не торопил ее с ответом. Он понимал, что о женитьбе ему, солдату, у которого не было ничего, кроме надежд, думать пока еще слишком рано. Он с нетерпением ждет вестей из Петербурга. Наконец в начале декабря Достоевский получил уведомление о производстве в унтер-офицеры. Известие это окрылило его... «Я произведен в Унт[ер]-Офицеры, — сообщал он брату, — что довольно важно, ибо следующая милость, если будет, должна быть, натурально, значительнее Унт. Офицерства. Меня здесь уверяют, что года через два или даже через год, я могу быть официально представлен в Офицеры»[148]. А это открывало путь к свободе, к счастью! Но все это было впереди. Пока же писатель должен был довольствоваться тем, что дело его стронулось с места, что, получив одну милость, можно было надеяться получить вторую. И он верит, что получит ее.

В конце 1855 года Врангель уехал в Петербург. С грустью расстались друзья. За год совместной жизни они успели искренне привязаться друг к другу. Но Федор Михайлович утешался мыслью, что Врангель,

живя в Петербурге, лучше использует свои связи и сумеет помочь ему получить свободу, а потом и право печататься.

Теперь, когда у Достоевского появилась надежда на изменение своей участи, когда он почувствовал, что сможет соединиться с любимой, стать счастливейшим человеком, писатель предпринимает энергичные усилия для того, чтобы приблизить этот час. Он просит Врангеля выхлопотать ему разрешение выйти в отставку, обращается к писателю и критику В. Ф. Одоевскому, занимавшему в то время пост сенатора, с просьбой исходатайствовать ему право печатать свои произведения и говорит, что предполагает для начала написать «патриотическую» статью о России. Надеется он и на поддержку начальника Алтайских заводов полковника Гернгросса и барнаульского горного генерала, с которым довольно близко познакомился, а также на других своих омских и семипалатинских знакомых. «...Мой друг! — писал Федор Михайлович брату.—Не думай, чтоб какие-нибудь социальные выгоды, или что-нибудь подобное заставляли меня до такой степени упорно стараться о себе. Нет. Но есть два обстоятельства, которые заставляют меня как можно скорее выйти из стесненного положения и ввергают в такое лихорадочное участие к самому себе... 1-е) Это то, что я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь я знаю, что я недаром вышел на эту дорогу и что я недаром буду бременить собою землю. Я убежден, что у меня есть талант и что я могу написать что-нибудь хорошее...»[149] Второе обстоятельство, которое имел в виду писатель—это любовь к Исаевой. «Я давно уже люблю эту женщину, — говорил Достоевский брату, — и знаю, что и она может любить. Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся, хотя несколько к лучшему и положительному, я женюсь на ней. Я знаю, что она мне не откажет. Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения, а между тем родные зовут ее к себе в Астрахань. Если до весны не переменится, то она должна будет уехать

в Россию. Но это только отдалит дело, а не изменит его. Мое решение принято, и хотя бы земля развалилась подо мной, я его исполню. Но не могу же я теперь, не имея ничего, воспользоваться расположением ко мне этого благороднейшего существа и теперь склонить ее к этому браку»[150].

По-прежнему в Кузнецк летели письма, полные страстных уверений в преданности, в любви и уверенности в близких переменах. Когда была возможность, Достоевский посылал деньги, но это случалось нечасто. Средств у писателя не было, и взять их было неоткуда. Все надежды были на брата, который изредка присылал небольшие суммы.

Письма Марии Дмитриевны, ровные и нежные, успокаивали и вселяли надежду. А однажды она прямо написала, что согласна стать его женой. «Но пока надо подождать, — добавила она, — ведь надо подумать и о том, как и на что мы будем жить». Это понимал и сам Достоевский. Надо было ждать.

Между тем по Семипалатинску поползли слухи о том, что около Исаевой появились претенденты на ее руку. Досужие сплетники, пряча улыбку, добавляли, что, дескать, она и сама не прочь, так как ждать Федора Михайловича — это, в сущности, пустое и безнадежное дело, что не такая уж великая честь стать женой «государственного преступника», да еще бывшего каторжника. Когда-то он получит прощение, да и получит ли? А тут налицо жених, к тому же довольно обеспеченный.

Как ни желал Федор Михайлович отмахнуться от этих слухов и сплетен, которыми славился Семипалатинск, но сомнения все же закрались в его сердце. Он не смел и думать спросить об этом у Марии Дмитриевны. Ему казалось, что своим подозрением он оскорбит ее, обидит.

С нетерпением ждет он писем из Кузнецка, жадно прочитывает их, стараясь понять недосказанные мысли любимой. А в письмах сообщались все более и более тревожные новости. Мария Дмитриевна писала об одиночестве, об отчаянии, которое вновь охватило ее,

о болезни, нужде. Ко всему прочему, в последних письмах Достоевский вдруг почувствовал необычную сдержанность и даже некоторый холодок. Ему показалось, что в посланиях любимой стало гораздо «меньше задушевных слов», что она о чем-то недоговаривает, что-то скрывает.

Сомнения разрешились очень скоро. В одном из писем Мария Дмитриевна спрашивала, как ей поступить и что ответить человеку, который сделал бы ей предложение. Известие это, как гром, поразило Федора Михайловича. «...Никогда столько грусти, тоски и отчаяния не было в жизни моей, как теперь!»[151] — жаловался он брату.

Достоевский не хочет верить в то, что Мария Дмитриевна разлюбила его. Ему кажется, что только материальные затруднения, одиночество и грязные интриги кузнецких обывателей заставили молодую женщину искать выход в браке, к которому у нее не лежит сердце.

«Если бы я находился рядом, этого бы не случилось, — с грустью думал Федор Михайлович. — Я бы утешил ее, подбодрил, убедил не делать опрометчивого шага. Ведь уже осталось немного ждать, ведь я нахожусь накануне переворота в судьбе моей и ее устройства к лучшему».

Известия о предполагаемом замужестве Марии Дмитриевны заставили Достоевского лихорадочно искать выход. Надо было что-то немедленно предпринять. Но что? Кого просить? Кому нужен он, опальный, наверное, всеми позабытый писатель?! Кто возьмется хлопотать за него? В искреннем желании Врангеля помочь ему Достоевский не сомневался. Но он отлично понимал, что тот вряд ли добьется чего-нибудь существенного. Здесь требовалось вмешательство лица, более могущественного и влиятельного.

Уже давно внимание Достоевского привлекала знакомая фамилия, часто мелькавшая на страницах тогдашней периодической печати. Газеты и журналы писали восторженные статьи о герое севастопольской обороны генерале Э. И. Тотлебене, который стал лю-

бимцем нового царя. Ведь с ним Федор Михайлович в свое время учился в Инженерном училище, а с его братом был даже дружен.

У писателя возникла дерзкая мысль написать письмо царскому любимцу, напомнить о себе и просить, а если нужно, то и умолять походатайствовать о нем, помочь выйти в отставку и получить возможность печататься.

Долго не решался Достоевский на этот шаг. Слишком горько и унизительно было просить, да и к тому же еще за себя. Но что оставалось делать?! С болью и горечью пишет он письмо, где уверяет Тотлебена в совершеннейшей своей лояльности, в коренном изменении прежних своих взглядов и даже говорит о законности и справедливости понесенного им наказания. О чем еще можно было написать в письме, с которым связывалась мечта о свободе, о возвращении в литературу и, наконец, о личном счастье?! Здесь было не до искренних излияний о сомнениях и тревогах, закравшихся в сознание за последнее время, не до выяснения вопросов, казавшихся неразрешимыми! Достоевский понимал, что раз просишь — значит, надо было признавать себя виновным, говорить, что ты порываешь с прошлым. Иначе кто же возьмется хлопотать за нераскаявшегося преступника! Но как горько было произносить эти покаянные слова! «Я всегда считал за малодушие беспокоить собою других, — писал Федор Михайлович Тотлебену. — ...Я мужественно переносил до сих пор мое бедствие. Теперь же обстоятельства сломили меня, и я решился на попытку, только на попытку»[152].

Это письмо Достоевский не рискнул переслать по почте, опасаясь, как бы оно не затерялось или не осело в столе какого-нибудь чиновника. Он просит передать письмо лично Тотлебену своего друга Врангеля, считая это более надежным и полагая, что тот еще замолвит за него словечко. «Напирайте собственно на то, — убеждает писатель Врангеля, — чтоб мне оставить военную службу... Нельзя ли, например, уволить меня с правом поступления в статскую 14-м классом

и с возможностью возвратиться в Россию, а главное, печатать!»[153]

Не удовлетворившись этим, Достоевский обращается к испытанному и уже оправдавшему себя однажды средству — стихам, которые решает написать по случаю предстоящей летом 1856 года коронации Александра II.

Свое новое стихотворение Достоевский представил своему начальнику и одновременно послал в Петербург Врангелю, чтобы тот нашел подходящий случай для передачи его царю.

И снова генерал Гасфорт (на этот раз по рекомендации семипалатинского губернатора Спиридонова) пишет в Петербург, что стихотворение Достоевского «по теплоте патриотических чувств, обращает на себя особенное внимание», т. е. то же самое, что он писал о предыдущем произведении писателя. Но теперь он просил военного министра «исходатайствовать высочайшее соизволение на напечатание оного в одном из петербургских периодических изданий»[154] и произвести опального писателя в прапорщики с установлением над ним секретного наблюдения.

Стихи Достоевского на коронацию выдержаны в духе политической декларации. Главная задача, которую поставил здесь перед собой писатель, сводилась к воспеванию нового царя, к выражению тех надежд, которые связывали многие слои русского общества с началом его царствования. Подобные мысли совершенно открыто провозглашались во многих публицистических статьях и «патриотических» стихах, в изобилии печатавшихся на страницах многих газет и журналов того времени, эти мысли звучали в речах ораторов, выступавших на всякого рода собраниях и торжествах. И поэтому взгляды Достоевского, высказанные им в этом произведении, по существу не являются ни оригинальными, ни чем-то из ряда вон выходящими. Не было новое стихотворение оригинальным и по своей художественной форме. Оно во многом перепевало уже давно известные мотивы.

В оде «На коронацию Александра II» писатель

старался не говорить о себе, ни единым словом не напоминать о своих страданиях и надеждах. Он не хотел показаться назойливым. Ведь неудача могла раз и навсегда разрушить ту хрупкую лестницу, по которой писатель так осторожно поднимался к свободе. Поэтому, желая действовать наверняка, Достоевский в новой оде, отбрасывая все личное, расточал неумеренные похвалы новому императору, звал Русь последовать за ним и, обращаясь к Христу, просил его «в путь святой благословить» царя. Примечательно, что когда писатель говорит об императоре, о новой эпохе, которая открывается с его воцарения, о том, что вся Русь пойдет во след царю и т. д., то в стихах не чувствуется никакого поэтического волнения: они холодны и риторичны. Зато когда речь заходит о Христе, эмоциональная окраска произведения резко меняется. Речь писателя становится взволнованной, страстной. В этом нельзя не видеть отражения новых взглядов Достоевского на Христа и христианство, явившихся результатом многолетних раздумий.

Все, что было в его силах, Достоевский сделал. Теперь надо было ждать. Опять ждать!

* * *

Трудно передать все те муки, которые претерпел Федор Михайлович за последние месяцы. Для него уже не было секретом, что у Марии Дмитриевны есть жених, бывший сослуживец ее мужа Н. Б. Вергунов, что она довольно благосклонно принимает его ухаживания, хотя ответа на его предложение выйти замуж пока не дала. В последних письмах Исаева все чаще стала говорить, что «она не может дать счастья» Федору Михайловичу, что «оба они несчастны», что «им лучше расстаться, позабыть друг друга» и т. д. Что мог на все это ответить Достоевский! Как умел, он утешал ее, умолял не отчаиваться, а в письмах к Врангелю изливал тоску, переполнившую его сердце: «Дела мои ужасно плохи, и я почти в отчаянии. Трудно перестрадать, сколько я выстрадал!»[155]. Он просит своего друга написать Марии Дмитриевне, удержать ее от опрометчивого шага.

Противоречивые чувства терзали Достоевского. Больше всего на свете он мечтал о соединении с любимой женщиной, но в то же время хорошо понимал, что сейчас, в теперешнем его положении, их брак вряд ли возможен. Главным для него было счастье той, которую он так горячо и пылко любил. Ради нее Федор Михайлович готов был пожертвовать всем: своим собственным счастьем, свободой и даже жизнью. Поэтому Достоевский в письмах к Исаевой говорил, что он уже примирился с мыслью о предстоящем замужестве Марии Дмитриевны (хотя все в нем трепетало при одной мысли об этом), что он желает ей счастья и надеется, что ее избранник — достойный человек.

Но одно дело писать, а другое — чувствовать. Судя по письмам Исаевой, она колебалась, не знала, что ей делать и отнюдь не была уверена в благородстве своего жениха, хотя и расхваливала его как только могла. Достоевский чувствовал неуверенность и смятение любимой женщины. Ему захотелось выяснить, наконец, ее действительное намерение, захотелось взглянуть и познакомиться с избранником Марии Дмитриевны. И вот, поставя на карту буквально все, он решает съездить в Кузнецк.

Отправившись по служебным делам в Барнаул, Достоевский на обратном пути меняет маршрут и, никого не предупредив, едет в Кузнецк.

Неспокойно было у него на душе. Мысли одна тревожнее другой возникали в разгоряченном воображении писателя. Ему казалось, что все уже кончено, что едет он совсем напрасно, что ничего изменить уже нельзя, что Мария Дмитриевна навсегда потеряна для него. И как-то еще встретит она его! Ведь скоро год, как они расстались, и за это время им ни разу не довелось увидеться! А по письмам разве узнаешь, о чем думает любимая, что тревожит и волнует ее! Да и были они в последнее время редки и немногословны.

Из глубокой задумчивости Достоевского вывел голос возницы, который, как будто чувствуя, что творилось в душе седока, всю дорогу молчал, а теперь обрадованно проговорил:

— Вон он, Кузнецк-то! Скоро дома будем.

Достоевский взглянул вокруг и невольно залюбовался открывшейся перед ним картиной.

На высоком берегу Томи возвышались белоснежные стены Кузнецкой крепости, внизу, приткнувшись к скалистой горе, дремал Кузнецк. Повсюду, совсем рядом и где-то далеко-далеко вдали, залегли невысокие, но удивительно живописные горы. Вершины некоторых из них походили на спины огромных чудовищ, неподвижно застывших в глубоком сне, другие представлялись причудливыми замками с башнями и рвами. Все это было покрыто ярким и свежим травяным ковром, не успевшим еще пожухнуть под яркими лучами июльского солнца. В эту красочную картину удивительно гармонично вписывалась широкая лента реки, на берегу которой в ожидании парома стоял теперь писатель.

Кузнецк не вызывал особого интереса у Достоевского. Он в то время мало чем отличался от других маленьких уездных городишек, затерявшихся среди бескрайних российских просторов, да к тому же стоявших в стороне от больших дорог. Те же маленькие приземистые деревянные домишки, высокие заборы, за которыми, гремя цепями, бегали огромные псы, грязные и пыльные улицы, и, наконец, та же до одурения однообразная жизнь. Здесь было еще более тоскливо, чем в Семипалатинске.

Коляска остановилась около небольшого домика на одной из улиц нижнего города. В открытом окне мелькнуло чье-то лицо, слышно стало, как в доме поднялась суматоха. Не успел Достоевский сойти на землю, как в дверях дома показалась Мария Дмитриевна в платке, накинутом на плечи. Весь ее растерянный вид говорил, что она никак не ожидала увидеть у себя такого гостя. Лицо ее то бледнело, то покрывалось пунцовым румянцем. Она хотела пойти навстречу Федору Михайловичу, но почувствовала, что силы оставляют ее и в изнеможении прислонилась к стене.

Достоевский бросился вперед, бережно взял Марию Дмитриевну под руку и осторожно провел в дом.

Внутренность комнаты, в которой они очутились, поразила писателя своей бедностью. Все было чисто, чрезвычайно опрятно, но во всем чувствовалась нужда. Об этом говорили и ветхие, хотя и сияющие белизной занавески, и не один раз штопанная салфетка, лежащая на столе, и лоскутное ситцевое одеяло, покрывавшее кровать.

Усадив Марию Дмитриевну, Федор Михайлович, путаясь и сбиваясь, объяснил ей свой неожиданный приезд, сказал, что прибыл тайно и просил никому не говорить об этом. Потом наступило тягостное молчание. Никто не решался первым начать объяснение.

Достоевский внимательно смотрел на Марию Дмитриевну, стараясь угадать, что скажет ему любимая, которая теперь вот здесь, рядом, и в то же время так далеко, как никогда за все время их знакомства. Он видел, что она смущена, растеряна и что-то хочет сказать, но не решается. Федор Михайлович не знал, чему приписать все это: то ли тому, что он приехал слишком поздно, то ли... Нет, на это сейчас он боялся даже надеяться.

Мария Дмитриевна продолжала безмолвствовать и, опустив глаза, нервно теребила конец старенькой скатерти.

Не в силах больше молчать, Федор Михайлович заговорил первым. Прерывающимся от волнения голосом он стал рассказывать о тех муках и страданиях, которые вынес за последнее время, о своей тревоге за будущее Марии Дмитриевны, о Вергунове, с которым она вряд ли будет счастлива.

— Но ведь вы его совсем не знаете, — вдруг проговорила Исаева, поднимая глаза. — Николай Борисович — достойный и благородный человек.

— Я и не сомневаюсь в этом, — поспешил вставить Достоевский. — Только сумеет ли он успокоить ваше бедное исстрадавшееся сердце, будет ли любить вас так... как я?

— Вы должны обязательно познакомиться с Николаем Борисовичем, — горячо воскликнула Мария Дми-

триевна, — обязательно. И вы увидите, увидите сами, какой он человек.

— Хорошо, — согласился Федор Михайлович, — я познакомлюсь с ним.

Долго и горячо говорил еще писатель. Ему так много хотелось сказать, так много поведать любимой, с которой, как ему думалось, он видится, может быть, в последний раз. Он говорил о прошлом, вспоминал чудесные вечера, проведенные вместе, клятвы, которыми они обменялись. Мария Дмитриевна плакала, называла себя неблагодарной, а потом взволнованно прошептала:

— Не грустите, еще не все решено! Все еще может измениться!

Вечером пришел Вергунов. Это был молодой человек лет 24—25 с довольно привлекательными чертами лица. Держался он несколько вызывающе. Он знал, кто перед ним, и ему льстило, что Мария Дмитриевна предпочла его этому неказистому на вид человеку с унтер-офицерскими погонами на плечах, бывшего, как ему сказали, когда-то сочинителем.

На Федора Михайловича Вергунов произвел неприятное впечатление. Но он постарался преодолеть свое предубеждение и принял его ласково и приветливо; расспросил о занятиях, интересах, о службе и т. п. Вергунов отвечал неохотно, но постепенно разговорился и, казалось, даже проникся симпатией к Достоевскому.

Даже беглого разговора было достаточно, чтобы составить представление о Вергунове, человеке слабовольном, тщеславном и болезненно самолюбивом. Предложив Марии Дмитриевне выйти за него замуж, он нисколько не беспокоился о будущем и очень смутно представлял себя в роли главы семьи.

Два дня пролетели, как во сне. Пора было возвращаться. С тяжелым сердцем покидал Достоевский Кузнецк. И хотя Мария Дмитриевна была с ним попрежнему нежна, говорила, что никто не разлучит их, но он знал, что пройдет несколько дней и все может

измениться. Он будет далеко, а здесь... здесь все может пойти по-старому.

Так и случилось. Едва Достоевский вернулся, как одно за другим получил несколько писем, в которых Исаева снова писала о тоске и отчаянии, вновь овладевшими ею, о том, что она все-таки любит Вергунова больше него, и, наверное, выйдет за него замуж.

Скрепя сердце. Федор Михайлович решает написать письмо Исаевой и Вергунову вместе. Писатель понимал, что, начни он говорить правду о их беспросветном будущем, о вечной нужде, которая их ожидала впереди, они могут подумать: «Для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем». И все-таки он написал такое письмо. Об ответных посланиях Достоевский сообщал Врангелю: «Она отвечала, горячо его защищая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и г л у п о принял... за оскорбление —дружескую, братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного будущего, и вечный Кузнецк... Мне написал ответ ругательный. Дурное сердце у него, я так думаю!.. Чем это кончится, не знаю, но она погубит себя, и сердце мое замирает»[156], — с горечью замечал писатель.

Надежд больше не было. Единственное, о чем мечтает теперь Федор Михайлович, — это о счастье любимой. «...Ее счастье мне дороже моего собственного»[157], — писал он Врангелю. Он уже смирился с мыслью, что Мария Дмитриевна не будет его женой и всю свою любовь и всю свою привязанность к ней стремился выразить в дружеских заботах о своей возлюбленной. Он хлопочет об устройстве ее сына в кадетский корпус, о назначении ей пособия за умершего мужа и, наконец, просит своих друзей посодействовать устройству на более высокооплачиваемую должность... Вергунова, своего соперника. «Она не должна страдать, — пишет Федор Михайлович Врангелю, — если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были.

А для того е м у надо место, перетащить его куда-нибудь. Я еще не знаю, что можно для него сделать... Но теперь поговорите о нем Гасфорту (как о молодом человеке достойном, прекрасном, со способностями), хвалите его на чем свет стоит... Все это для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!»[158]

И все-таки где-то глубоко-глубоко Достоевский все еще надеялся на какие-то изменения. Не мог он до конца поверить, что все уже кончено, не мог вырвать из своего сердца образ любимой. Он мечтает увидеть ее хоть один только раз. И пусть это свидание уже ничего не изменит, но все-таки он думает об этом, не может не думать. Ведь она для него была всем, с ней было связано все самое дорогое, светлое.

Достоевский сделал попытку снова съездить в Кузнецк, но сумел добраться только до Змиева. Не хватило денег, а подходящей оказии не подвернулось. Пришлось вернуться ни с чем. Снова потянулись дни ожиданий, тоски и страданий. «...В настоящее время я почти ни на что не способен, — жалуется писатель Врангелю, — и так на все тяжело смотрю!.. Ей богу, хоть в воду! Хоть вино начать пить!»[159].

* *

А документы о производстве Достоевского в прапорщики продолжали двигаться по огромной бюрократической лестнице, обрастая все новыми и новыми резолюциями, пока, наконец, благодаря хлопотам Тотлебена военный министр генерал-адъютант Сухозанет не доложил об опальном писателе царю. Последовало «всемилостливейшее повеление» о производстве, и 1 октября 1856 года в «высочайшем приказе» об этом было объявлено официально. Однако разрешение печататься, которого так настойчиво добивался Достоевский, и на этот раз получено не было. В резолюции аудиториатского департамента военного министерства говорилось, что «впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности продолжить за ним секретный надзор, и если поведение его во всех отношениях

будет безукоризненно, то войти с особым представлением о дозволении Достоевскому печатать свои литературные труды»[160].

Приказ о своем производстве писатель получил лишь 30 октября, когда он даже надеяться перестал. Говоря в письмах к брату и Врангелю о своей благодарности «бесконечно-милосердному монарху», Достоевский в то же время не может скрыть своего разочарования по поводу того, что ему до сих пор ничего не ответили на ходатайство о позволении печататься. Это «вопрос для меня самый главный»[161], — пишет он Врангелю. С возможностью вернуться в литературу Федор Михайлович связывал слишком много надежд. От этого зависела вся его дальнейшая жизнь, личное счастье, материальная обеспеченность. В качестве первой попытки он просит брата попробовать опубликовать рассказ «Маленький герой», написанный им в Петропавловской крепости. «Почему не напечатали, — с тревогой спрашивал писатель брата, — была ли попытка, а если была, то что сказали?»[162] Это ему особенно важно знать, так как производство в офицеры вновь воскресило у него надежду на счастье. Теперь не хватало одного: возможности публиковать свои произведения. Это позволило бы не только поведать наконец миру все то, что накопилось у него за семь лет, но и обеспечило бы ему безбедное существование. На скудное офицерское жалование Достоевский и не рассчитывал.

Снова полетели письма в Кузнецк. Но ответы теперь приходили незамедлительно. Мария Дмитриевна еще во время тайного приезда Федора Михайловича в Кузнецк убедилась в том, что Вергунов — это не тот человек, с которым она могла бы быть счастлива. Достоевскому она о своих сомнениях не писала, не хотела заранее обнадеживать его, так как думала, что брак с Федором Михайловичем в то время, когда судьба его еще не устроена, не принесет счастья ни ей, ни ему. Каждую неделю она, по словам Достоевского, писала ему «письма длинные, полные самой искренней, самой крайней привязанности»[163].

Получив известие о производстве Достоевского в офицеры, Мария Дмитриевна сердечно поздравила его, но ничего определенного не отвечала. И писатель решает снова побывать в Кузнецке с тем, чтобы окончательно выяснить намерения Исаевой.

В конце ноября 1856 года, будучи по делам службы в Барнауле, Федор Михайлович выбрал время и целых пять дней прожил в Кузнецке. Все было решено. Спустя несколько дней после возвращения он восторженно писал Врангелю: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь — вы знаете на ком. Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья. Она же любит меня до сих пор, и я выполнял ее желания. Она сама сказала мне: д а... О, если б вы знали, что такое эта женщина!»[164].

Достоевский чувствовал себя счастливейшим человеком. Наконец-то рядом с ним будет его любимая, и они вместе забудут все тяжелое и страшное, что выпало на их долю. Но одна мысль продолжала тревожить писателя. Предстоящая свадьба, переезд Марии Дмитриевны из Кузнецка, устройство новой квартиры — все это требовало денег. А денег не было. Были долги.

Прошло уже три года, как Достоевский вышел из каторги, и за все это время у него еще ни разу на руках не было денег. То, что присылали брат и родные, едва хватало на покрытие самых необходимых нужд. А в последнее время он почти все время помогал Марии Дмитриевне, да и поездки в Кузнецк стоили немало. Первое время существенную помощь оказывал Врангель, а потом пришлось прибегнуть к займам. И вот теперь Достоевский день и ночь думал о том, где достать денег. Он пишет письма брату в Петербург, сестре и дяде в Москву и умоляет помочь ему. Он верит, что скоро, совсем скоро сумеет расплатиться со всеми долгами. Ведь разрешат же наконец ему печататься! А для печати у него накопилось уже достаточно материала. «Но если печатать не позволят еще год, — с горечью говорил он Врангелю, — я пропал. Тогда лучше не жить! Никогда в жизни моей не

было для меня такой критической минуты, как теперь. И поэтому поймите, бесценнейший друг мой, как важно для меня хоть какое-нибудь известие о позволении печатать. И поэтому, умоляю вас как бога, если могли что-нибудь узнать об этом, то уведомьте немедленно»[165].

В ожидании известий из Москвы и Петербурга, а также от Врангеля, Достоевский решает занять необходимые деньги у своего знакомого, капитана Ковригина, служащего Локтевского завода, и в конце января 1857 года снова, но теперь в последний раз, едет в Кузнецк.

По дороге писатель заехал в Барнаул, где прожил несколько дней у своего давнишнего петербургского знакомого, известного русского географа П. П. Семенова, который за свои изыскания и исследования горной страны Тянь-Шань, стал называться Тян-Шанским.

Барнаул в середине прошлого века был одним из самых культурных городов Сибири. Там были очень неплохие для того времени театр, в котором ставились любительские спектакли, и довольно большая публичная библиотека. Среди жителей города было немало образованных людей, особенно среди инженеров Алтайского горного округа. Семенов-Тян-Шанский называл Барнаул «Сибирскими Афинами».

После серой и удивительно однообразной жизни Семипалатинска Барнаул казался Достоевскому обетованной землей, и он всегда с удовольствием отправлялся туда. На этот раз поездка для него была особенно привлекательна. Ведь скоро, совсем скоро он навсегда соединится с любимой, да к тому же ему было очень приятно вновь повидаться с Семеновым. Сколько воспоминаний вдруг нахлынуло на Достоевского, когда летом 1856 года он впервые после многих лет разлуки увидел в Семипалатинске своего товарища, с которым в свое время довольно часто встречался на «пятницах» Петрашевского. О многом переговорили тогда друзья, вспомнили товарищей, горячие споры и дискуссии, которые так часто разгорались в

кружке петрашевцев. Только существа споров они старались не касаться. Достоевский — потому, что научился быть сдержанным и осторожным, а Семенов — потому, что всегда был человеком умеренных взглядов и никогда не одобрял крайних мер. Друзья встретились еще один раз после того, как Семенов возвратился из первой своей поездки в Тянь-Шань. И вот теперь они вновь были вместе. Семенов уже несколько раз просил Достоевского почитать ему «Записки из мертвого дома», над которыми тогда работал писатель. На этот раз Достоевский привез с собой законченные главы и по нескольку часов в день читал их своему товарищу, дополняя устными рассказами. «...Сильное, потрясающее впечатление произвело на меня это чтение, — говорил позднее Семенов-Тян-Шанский, — ...я живо переносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего более чем когда-нибудь с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы...»[166]

Свое пребывание в Барнауле Достоевский использовал для того, чтобы завершить все необходимые приготовления к свадьбе. Наконец все было закончено. Позади остался Барнаул, одна за другой замелькали мимо станции: Повялихинская, Бачатская, Карайгалинская.

Достоевскому все время казалось, что он едет слишком медленно. Хотелось крикнуть: «Скорей! Скорей!» Но лошади и так мчались во весь опор. Ямщики, чувствуя его настроение, быстро перепрягали на станциях лошадей и снова устремлялись в путь.

На второй день к вечеру вдали показался Кузнецк. Взволнованный и радостный подъезжал писатель к городу. Здесь, как ему казалось, должны закончиться его страдания, здесь должен он обрести свое счастье, к которому так стремился последние годы.

Все последующие дни прошли, как в тумане. Достоевский смутно припоминал, как священник в церкви что-то долго и нудно говорил, а потом обратился к нему с каким-то вопросом. Он машинально вслед за Марией Дмитриевной сказал «да» и поцеловал ее.

Все было кончено. Совершилось то, о чем он так мечтал, чем жил последнее время. Потом все вышли из церкви и направились домой. А в метрической книге Одигитриевской церкви под № 17 появилась запись: «Повенчаны: служащий в Сибирском линейном батальоне № 7-й, прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедования, первым браком, 34 лет. Невеста его: вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедования, вторым браком»[167].

В Семипалатинск Достоевский вместе с женой и пасынком вернулся лишь 20 февраля, вернулся больной, измученный. Хлопоты, связанные со свадьбой, переездом, и припадок падучей болезни, случившийся с ним в Барнауле, на обратном пути, вконец измотали Федора Михайловича. Да и Мария Дмитриевна чувствовала себя не совсем здоровой после утомительного переезда и множества всевозможных забот, которые на нее сразу обрушились.

Достоевские поселились в очень просто обставленной квартире, которая находилась в доме Лопухова на Крепостной улице. В ней было только самое необходимое, но благодаря стараниям Марии Дмитриевны она имела очень уютный и привлекательный вид.

Впервые за много лет Достоевский почувствовал себя счастливым, сбылась его мечта о тихой и спокойной жизни. Огорчали и тревожили его только непрекращавшиеся припадки эпилепсии, да массу хлопот доставили денежные дела, которые по-прежнему были в плачевном состоянии. Долги росли, присланных дядей из Москвы денег хватило ненадолго, а впереди пока не было никаких перспектив.

Родные писателя, его сестры, брат Михаил Михайлович были очень недовольны женитьбой Достоевского. Они считали, что семья свяжет его по рукам и ногам, будет мешать ему работать, что, сам едва сводя концы с концами, он вряд ли сможет обеспечить жену и пасынка. Поэтому Достоевский почти в каж-

дом письме к родным старался привлечь их симпатии к Марии Дмитриевне, говоря о ней как о чудесной женщине, доброй и отзывчивой. «Это доброе и нежное создание, — писал Федор Михайлович брату,—немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь ее оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности, но никогда она не перестает быть доброю и благородною»[168]. Обращаясь к сестре, Достоевский просил: «Полюбите ее и я Вам за это буду чрезвычайно благодарен...»[169]

Достоевские вели очень скромный образ жизни. Бывали только у своих близких друзей и у хороших знакомых. А больше всего предпочитали проводить время дома, изредка приглашая к себе гостей.

Почти никогда не имея денег, очень часто нуждаясь сам, Достоевский тем не менее считал своим долгом и обязанностью помочь другим. По свидетельству З. Сытиной, дочери командира роты Гейбовича, под начальством которого служил писатель, Федор Михайлович содержал семью одного слепого старика-татарина, помогал ссыльному поляку Нововейскому. «Самый бедный человек, — рассказывает З. Сытина в своих воспоминаниях, — не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный»[170]. Годы суровых испытаний не ожесточили писателя, они сделали его еще более чутким и отзывчивым к чужому горю, к чужим страданиям.

* * *

Занятый устройством своих служебных и семейных дел, Достоевский ни на секунду не перестает думать о своем прошлом, о настоящей своей жизни и, главное, о будущем. Его глубоко волнуют и такие проблемы, как будущее человечества, судьба России, ее роль и место в системе европейских государств и т. п. Огромную пищу для размышлений давали те по большей части отрывочные сведения о мощном общественном подъеме в России, которые доходили до Семипалатинска. А там происходило вот что.

После смерти Николая I и окончания Крымской войны русское общество жило в ожидании изменений и преобразований. Уже много лет самодержавно-крепостническая система России переживала глубокий кризис, который усугубила Крымская война, вскрывшая перед всем миром военно-политическую и экономическую отсталость страны и усилившая революционное брожение в широких массах крестьянства и разночинной интеллигенции. На повестку дня вставали вопросы о немедленном освобождении крестьян от крепостной зависимости, о радикальном преобразовании общественно-политического строя, о подготовке и проведении крестьянской демократической революции. Но так считали и ставили вопрос революционеры-демократы во главе с Чернышевским и Добролюбовым. Совершенно иную позицию занимали правящие классы.

Героическая оборона Севастополя на время в их среде вызвала волну патриотического подъема. Но этот подъем носил у них монархический, реакционный характер. Поражение России было для них неожиданностью. Они почувствовали неуверенность и шаткость своего положения и стали составлять всякого рода прошения и всеподданнейшие адреса, в которых стали говорить о необходимости проведения умеренных реформ. Правящие классы охватила лихорадка либерализма. Они везде и всюду говорили о новой эпохе, о новом направлении, которое наступает в России. Они же сложили легенду о молодом царе Александре II, которого называли спасителем отечества и связывали с ним будущее России.

Либерально-дворянские круги вели открытую и яростную борьбу против революционеров-разночинцев, обвиняя их в распространении пагубных идей, которые могут привести Россию к катастрофе. Гнев и ненависть вызвала у них борьба Чернышевского и Добролюбова за освобождение крестьян с землей, против либеральных иллюзий и обещаний царя и дворян, за торжество идей материализма и социализма.

В этот период появились новые журналы как прогрессивные, так и реакционные. Завязалась ожесто-

ченная полемика между революционерами-демократами, с одной стороны, и либералами и крепостниками, с другой. Спорили по самым различным вопросам: социальным, политическим, экономическим, философским, эстетическим, литературным.

Далеко не во всем этом разбирался Достоевский. Сначала он просто терялся в догадках: что там происходит? О чем там так бурно спорят? Почему так восторженно пишут газеты, журналы о каком-то прогрессе, о новом направлении? Об этом ему писали и друзья из Петербурга. «Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг вас, о котором вы пишете, как о каком-то новом направлении? — с недоумением спрашивал он у А. Н. Майкова. — Признаюсь вам, я вас не понял... Вы пишете, что общество как бы проснулось от апатии. Но вы знаете, что в нашем обществе вообще манифестаций не бывает. Но кто ж из этого заключал когда-нибудь, что оно без энергии? Осветите хорошо мысль и позовите общество и общество вас поймет»[171]. Достоевский считал, что русское образованное общество всегда было очень восприимчиво к новым идеям и горячо их подхватывало. Поэтому он не видел ничего удивительного в том брожении умов, которое происходило в столицах. К тому же в тех идеях, о которых так много говорилось повсюду и о которых ему сообщал Майков, писатель не видел ничего нового. «Читал письмо ваше и не понял главного, — писал Достоевский. — Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, мой друг? Неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь?

Да! Я всегда был истинно русский — говорю вам откровенно... Вполне разделяю с вами патриотическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери... Да! Разделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно»[172].

Все это так и было. Но Достоевский не сказал здесь самого главного: какая Россия поведет за собой Европу, какая идея объединит ее, что будет содействовать «нравственному освобождению славян». Если раньше ему казалось, что европейские народы, а потом и все человечество в единое братство объединят идеи социализма, то теперь он убежден, что это призвана сделать православная вера, поддержанная самодержавием. Россия социалистическая и раньше как-то не совсем укладывалась в сознании Достоевского, теперь же он не мыслит ее без самодержавия, без такого «просвещенного» царя, каким представлялся писателю Александр II.

К подобным выводам Достоевский пришел не сразу. Жизнь на каторге, и в особенности жизнь в Семипалатинске, перевернула прежние его представления. Долгое время Достоевский с вниманием и беспокойством вглядывался в окружающих его людей. Писатель надеялся встретить среди них таких же, как и он сам, т. е. людей мыслящих, ищущих, к чему-то стремящихся. Ему хотелось услышать от них хотя бы отголоски того, чем он и его товарищи-петрашевцы жили в свое время в Петербурге. Но все было напрасно. Ничего подобного он не услышал и не увидел. Правда, офицеры и чиновники, с которыми ему приходилось сталкиваться, вели бесконечные разговоры о политике, о только что кончившейся и позорно проигранной Крымской войне, о мирном договоре с Турцией и с ее союзниками — Англией и Францией, договоре, который лишал Россию возможности иметь военный флот на Черном море, о событиях, происходящих в Европе, о новом императоре, от которого ждали многих реформ и преобразований. Однако вопросы, связанные с социальным переустройством в стране, с положением крестьянства, вопросы о путях общественного развития оставались в стороне и, как показалось Достоевскому, никого не интересовали. Он с каждым днем все больше и больше убеждался, что все те идеи, в которые он прежде свято верил, здесь, в Сибири, мало кого трогают, мало кого волнуют. Даже массовый

наплыв политических заключенных, начиная с декабристов и кончая петрашевцами, не пробудил от равнодушия и покоя сибирских обывателей. То, что творилось в Москве и в Петербурге, новые передовые и прогрессивные идеи лишь отдаленным раскатом далеко бушующих страстей доносились сюда. Здесь люди жили другими интересами. Им ни до чего не было дела, кроме службы, кроме стремления сколотить любыми средствами состояние. Писатель начинает думать, что, может быть, и действительно людям, которые его окружали, и сотням, тысячам других людей, живущих на необъятных просторах России, все эти идеи, эта устремленность в будущее совершенно ни к чему. Жили они без них, наверное, проживут и дальше. Все то, чему он вместе со своими друзьями свято поклонялся, во что так верил, все эти идеи о счастливом будущем человечества, о борьбе против социального неравенства начинают ему казаться праздной забавой кучки оторвавшихся от «почвы» интеллигентов. Чтобы они там ни говорили, как бы горячо ни ратовали за человеческое братство — здесь все осталось и все останется по-прежнему. Слишком уж инертной и неподвижной показалась Достоевскому Россия, чтобы ее могла поднять и пробудить кучка восторженных энтузиастов. Человек на фоне этой косности и неподвижности казался писателю маленьким и беспомощным, бессильным противиться страшной силе окружающих обстоятельств: деспотизму, лихоимству, взяточничеству и произволу. Не лучше ли смириться, признать пока существующий порядок вещей и одновременно поискать новый, более приемлемый путь к освобождению человечества от зла и социальных противоречий?! Этот путь, по мысли писателя, лежал через религию, через опрощение и сближение интеллигенции с народом, с «почвой», через смирение и покорность.

Все эти мысли родились в сознании писателя не сразу. Только к концу его пребывания в Сибири они приняли более или менее определенные очертания и легли в основу реакционных позиций, занятых Достоевским после возвращения в Россию. С этих позиций

он спустя два года и поведет ожесточенную борьбу против лагеря революционеров-демократов.

Все свободное от службы время Федор Михайлович посвящал литературному труду. Он продолжает работу над «большим романом», над «небольшой повестью», задуманными и частью написанными в первые годы жизни в Семипалатинске, а также собирается написать «роман из петербургского быта, вроде «Бедных людей». Речь здесь, по-видимому, идет о романе «Униженные и оскорбленные», который появился в печати после возвращения Достоевского из Сибири, в 1861 году.

В начале 1858 года Достоевский от брата узнает о возникновении журнала «Русское слово» и о том, что редактор его Кушелев-Безбородко предлагает ему сотрудничество. Писатель соглашается и решает на время оставить работу над «большим романом». «Оставлю его до того времени, — сообщает он брату, — когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость. Этот роман мне так дорог, так сросся со мной, что я ни за что не брошу его окончательно. Напротив, намерен из него сделать мой chef d'oeuvre. Слишком хорошая идея, и слишком много он мне стоил, чтоб бросить его совсем»[173]. Роман этот так и остался неоконченным, но материалы его, несомненно, были использованы Достоевским в других произведениях.

Для журнала «Русское слово» писатель решает выделить из «большого романа» «эпизод, вполне законченный, сам по себе хороший, но вредящий целому... Величиной он... с «Бедных людей», только комического содержания»[174]. В окончательной редакции эпизод превратился в повесть и получил название «Дядюшкин сон».

О том, что здесь идет речь именно об этой повести, говорит многое — и объем произведения, который действительно совпадает с «Бедными людьми», и выражение «герой мне несколько сродни». В свое время П. Сакулин в статье «Второе начало» говорил, что эту фразу Достоевский употребил в ироническом плане,

так как в то время был занят устройством своих брачных дел (начало 1856 года). Подобное толкование не вызывает возражений. Вместе с тем следует добавить, что, по-видимому, некоторые черты главного героя повести графа К. действительно в какой-то мере импонировали Достоевскому. Сохранилось очень интересное свидетельство второй жены писателя А. Г. Достоевской, где она рассказывала, что иногда «Федор Михайлович принимал на себя роль «молодящегося старичка». Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя из «Дядюшкина сна»[175].

Итак, для журнала «Русское слово» Достоевский пишет, а также завершает и дорабатывает повесть «Дядюшкин сон», первое произведение, целиком законченное им в Сибири.

В повести «Дядюшкин сон» писатель впервые обратился к изображению жизни русской провинции. В произведениях, написанных до каторги, его внимание преимущественно было обращено на раскрытие противоречий большого капиталистического города. Теперь же, прожив несколько лет в глухом провинциальном городишке, познакомившись с серой и тусклой жизнью семипалатинских и кузнецких обывателей, с их убогими, ничтожными интересами, жизнью, в которой малейшее нарушение раз и навсегда заведенного порядка воспринималось как «лиссабонское землетрясение», Достоевский решает запечатлеть ее на страницах своей повести.

Повесть «Дядюшкин сон» на первый взгляд производит впечатление невинного комического рассказа, окрашенного легким юмором. Но за этим, казалось бы, безобидным юмором скрывается едкий сарказм и глубокое презрение писателя к жизни города Мордасова, где господствуют сплетни, трезвый расчет, пошлость, лицемерие, интриги, где честный, с благородным сердцем человек не может жить — ему трудно дышать, мыслить.

Основное внимание писателя обращено на создание выразительной галереи мордасовских обывателей.

Один за другим проходят перед читателями образы провинциальной «львицы», сплетницы и виртуоза интриги Марии Александровны Москалевой, ее мужа Афанасия Матвеевича, «весьма представительного человека по наружности», которая сочеталась в нем с феноменальной глупостью, прокурорши Анны Николаевны Антиповой, злейшего врага Марии Александровны, полковницы Софии Петровны Фарпухиной — этой «ходячей газеты», которая была знаменита тем, что часто дралась со своим мужем, отставным полковником, и тем, что выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и т. д. Все эти люди ненавидят друг друга и ведут ожесточенную борьбу за первенство, за право считаться выдающейся личностью Мордасова. Ради этого Мария Александровна, например, не останавливается даже перед скандалом, «принимая за аксиому, что успех все оправдает». Для мордасовцев нет ничего святого, все возвышенные чувства, благородство, любовь, бескорыстие считают они романтическим бредом. А Мария Александровна все это считает влиянием «этого Шекспира», о котором она говорит с нескрываемым презрением. Только богатство, только знатность, только чины имеют в глазах мордасовцев реальную ценность, все остальное не ставится ими ни в грош. Именно поэтому князь К., дряхлый и выживший из ума старик, наполовину уже умерший, который весь составлен из отдельных частей: у него вставной глаз, искусственная нога, накладные волосы, вставленные зубы, — становится в этом обществе центром внимания и всеобщего поклонения. Князь — существо никчемное, опустошенное, как бы символизирующее ничтожность и духовное убожество всего дворянского общества. Линия сатирического изображения дворянства, впервые появившаяся в повести «Дядюшкин сон», будет затем продолжена писателем почти во всех его последующих крупных произведениях, вплоть до романа «Братья Карамазовы».

Но как ни отвратителен этот «полупокойник», «полукомпозиция», еще большее отвращение вызывает

мир мордасовских обывателей с их наглой беспринципностью, стяжательством и лихоимством.

Всему этому страшному миру пошлости, лжи и лицемерия Достоевский противопоставляет образ дочери Марии Александровны — Зины. Это натура очень своеобразная. Ей душно в обществе, которое ее окружает, ей претит дух стяжательства и мелочных интересов, царящий вокруг. Она всеми силами стремится вырваться из этой среды, но как это сделать, Зина не знает и в конце концов сдается, уступает, становясь очередной жертвой общественных условий.

Особое место в повести занимает образ рассказчика, от имени которого ведется повествование. Он называет себя «мордасовцем», но все его рассуждения, оценки, которые он дает жителям Мордасова, говорят о том, что он выше их на целую голову. Рассказчик предстает перед нами как тонкий наблюдатель, умеющий глубоко проникнуть в суть происходящих событий и дать им оценку. Он преклоняется перед красотой, умом и благородством Зины, стремится объяснить и оправдать ее поступки. Правда, он иногда искренне восхищается «подвигами» Марии Александровны, но одновременно дает пронизанную тонкой иронией характеристику князю К., Мозглякову, Фарпухиной и многим другим. Рассказчик выступает в повести как умная и обаятельная личность.

В повести «Дядюшкин сон» Достоевский во многом продолжает разработку вопросов, которые волновали его еще в начальный период его деятельности, а именно вопросов о человеческой личности, нравственно изуродованной окружающей действительностью, несправедливым общественным строем. Этот вопрос писатель решает прежде всего образом Зины, а также образами князя и мордасовских обывателей. Именно жизнь, пустая, никчемная, сделала одних жертвами, а других своего рода «пародиями на человечество», выхолостив в их сознании все живое, светлое, все человеческое.

Повесть «Дядюшкин сон» писалась Достоевским очень осторожно, с постоянной оглядкой на цензуру.

Ведь это было первое произведение, написанное им после каторги, которое должно было появиться в печати. Сам писатель много лет спустя говорил о своей повести: «Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры...»[176]. И все-таки, несмотря на это, Достоевский поднимает в повести «Дядюшкин сон» очень важные вопросы того времени, и в частности вопрос о положении крестьянства. В повести находят отголосок споры, которые велись вокруг подготовлявшейся тогда крестьянской реформы. Так, один из героев произведения, помещик Мозгляков, говорит о своем намерении отпустить своих крестьян на волю, так как считает, что «надобно же что-нибудь сделать для века». Подобную же мысль высказывает и князь К. Конечно, это было не что иное, как рисовка, и ничего подобного ни Мозгляков, ни тем более князь делать не собирались, но важно то, как внимательно следил Достоевский за общественной жизнью. Мы видим, что он знал о готовящейся крестьянской реформе и о спорах вокруг нее.

Не мог не отразить писатель в своей повести и того страха, который испытывали дворяне перед своими крепостными. Князь К. с ужасом говорит о том, что его кучер Феофил, нарочно вывалив его из саней, покушался на его жизнь, что его лакей Лаврентий «нахватался... каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним словом: коммунист в полном смысле слова».

Достоевский всегда был противником крепостного права, и это тоже нашло свое отражение в повести. Со скрытым презрением писатель устами князя рассказывает об одной московской барыне, «чрезвычайно поэтической женщине», у которой дочь, говорившая тоже чуть ли не стихами, «свою дворовую девку осердясь убила и за то под судом была».

Своеобразием повести «Дядюшкин сон» является то, что в ней Достоевский, как и в ранних своих произведениях, продолжает гоголевские традиции. Только теперь он отталкивается не от «петербургских по-

вестей» Гоголя, а прежде всего от его сатирических произведений «Ревизор», «Мертвые души» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это не было случайным. Гоголь всегда был для писателя самым любимым автором, и формирование таланта Достоевского прошло под несомненным влиянием великого художника. Выйдя из каторги, Достоевский остался верен своим прежним привязанностям и в своей повести продолжал линию обличения сильных мира сего, с таким блестящим мастерством разработанную в русской литературе Гоголем.

Но близки и понятны Достоевскому были традиции Гоголя лучшей поры его жизни и творчества. Другой Гоголь, периода «Выбранных мест из переписки с друзьями», остался писателю так же чужд, как и раньше, когда он был участником кружка Петрашевского. И этого Гоголя Достоевский в повести «Дядюшкин сон», хотя еще и очень робко, но все же высмеивает, пародирует. Это особенно чувствуется в рассуждении Марии Александровны Москалевой о роли женщины в семье и в обществе. Точно такие же рассуждения мы найдем в главе «Чем может быть жена для мужа...» книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Но если Гоголь об этом говорит серьезно, то в устах Марии Александровны подобные рассуждения звучат иронически, так как она сама ни одному своему слову не верит и говорит все это только для того, чтобы принудить свою дочь дать согласие на брак с князем.

Работа над повестью «Дядюшкин сон» затянулась. Только в начале 1859 года повесть была окончательно завершена и отослана в журнал «Русское слово».

За судьбу своего произведения Достоевский очень беспокоился. «...Узнай поточней и поподробнее, если можешь, понравилась ли она Кушелеву и всей редакции, — просил он брата. — Это для меня, мой друг, чрезвычайно важно... Любопытно знать—не выкинула ли чего цензура»[177]. Но все обошлось благополучно. Повесть была напечатана в мартовской книжке «Русского слова» за 1859 год безо всяких сокращений.

* * *

Создавая повесть «Дядюшкин сон», Достоевский одновременно работает над другим своим произведением, задуманным еще на каторге. Его он предполагал послать в журнал «Русский вестник», с которым наладил связь через своего друга петрашевца Плещеева. Это была «большая повесть», получившая позднее название «Село Степанчиково и его обитатели». Над этим произведением писатель много и тщательно работал. Он думал, что «Село Степанчиково» вернет ему прежнюю славу, заставит читателей говорить о нем как о замечательном русском писателе. В своих письмах Достоевский сообщал, что вложил в повесть «свою плоть и кровь» и нарисовал там «два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно... — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой»[178].

В центре повести находятся два героя: бывший приживальщик и шут, а ныне главная личность в Степанчикове Фома Фомич Опискин и детски-наивный и добродушный, стремящийся всех и все примирить полковник Ростанев.

Когда-то очень давно Опискин пытался стать литератором и «сотворил» даже какой-то романчик, прочитав который, все убедились, что имеют дело с человеком невежественным и абсолютно бездарным. Но, кроме этих исключительных достоинств, Опискин обладал непомерно раздутым самомнением. Он вообразил, что дорогу в литературу ему закрыли происки врагов, и Фома Фомич стал считать себя несправедливо обиженным и обойденным судьбой. С этого времени в нем и развилась «уродливая хвастливость... жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений».

Судьба по-прежнему не баловала Опискина. Чтобы не умереть с голоду, он вынужден был поступить в дом к генералу Крахоткину в качестве «чтеца и мученика». Каким только издевательствам и унижениям не подвергался Фома Фомич со стороны своего «благодетеля»! Генерал заставлял его изображать

всяких зверей, живые картины, глумился над ним, стараясь придумать какую-нибудь шутку пообиднее, позлее.

Но вот генерал умер, и Опискин сразу сделался героем дня. Фома Фомич сумел убедить вдову-генеральшу в том, что он человек необычный, особенный, да он и действительно считал себя таковым. Началась эпоха процветания Опискина, эпоха преклонения перед ним всех домочадцев. Поселившись в доме сына генеральши Ростанева, Фома Фомич становится там полновластным хозяином. К его словам прислушиваются, как к голосу какого-нибудь пророка и чуть ли не святого. Он всех поучает, всем читает наставления. И ни у кого из окружающих не возникало даже мысли о том, что Фому можно ослушаться.

Опискин предстает перед читателем как одуревший от чванства и всеобщего поклонения человек, который уж и не знает, что бы такое еще придумать, над кем бы еще поглумиться, кого бы еще унизить.

Образ Опискина писатель рисует резкими сатирическими красками. Достоевский стремится вызвать у читателя отвращение к этому ханже и лицемеру, ничтожному и пустейшему человеку.

Несомненно, что, создавая образ Фомы Опискина, Достоевский хотел решить проблему, которая глубоко его волновала. Он видел, что подчас самые ничтожные, невежественные люди, люди, которые ничего, кроме омерзения, не могли вызвать у здравомыслящего человека, вдруг оказывались в центре внимания, становились вершителями многих судеб, облекались неограниченной властью. В подобных людях фанатизм, искренняя вера в свою исключительность часто сочетались с трезвым расчетом и хитростью. Они каким-то внутренним чутьем угадывали обстановку и настроение окружающих и в соответствии с этим вели себя, подчиняя нередко своему влиянию суеверных, темных людей. Из породы ничтожных, чванливых людей и вышел Фома. Из этой же среды в свое время выходили всякого рода прорицатели, «святые» старцы, личности, вроде Распутина, и т. д.

Интересно отметить, что многие рассуждения и поучения Опискина перекликаются с отдельными положениями реакционной книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Например, рассуждения Фомы о литературе чрезвычайно близки мыслям, высказанным Гоголем в статьях «Предметы для лирического поэта» и «О театре»; в своей проповеди перед уходом из дома полковника Ростанева Опискин буквально пересказывает статью Гоголя «Русский помещик» * и т. д. Этим Достоевский продолжает полемику с реакционными взглядами Гоголя, начатую еще в Петербурге, а затем робко продолженную в повести «Дядюшкин сон». Теперь же Достоевский, с большим мастерством используя прием пародии, высмеивает ложный пафос, моралистический тон и крепостнические идеи, изложенные Гоголем в «Выбранных местах». Гоголь-моралист, Гоголь-проповедник в сознании писателя в какой-то мере ассоциируется с образом Фомы Опискина. Так же, как и Фома, Гоголь «выдумал себя», но, конечно, не как художник (как художник Гоголь был гениален, и Достоевский всегда преклонялся перед ним), а выдумал себя как «пророк», как «учитель жизни». В этом их сходство. Недаром один из первых читателей повести издатель журнала «Отечественные записки» А. Краевский говорил, что Фома ему чрезвычайно нравится. Он напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни[179].

Отвергая реакционную сущность проповедей Гоголя, пародируя их в «Селе Степанчикове», Достоевский одновременно в этой же повести широко использует сатирические традиции своего великого учителя.

Образ Фомы Опискина занимает в творчестве Достоевского очень важное место. Он в какой-то мере продолжает линию «двойничества», намеченную писателем еще в повести «Двойник». Ведь Фома тоже в своем роде «двойник», он тоже во многом выдумал себя, тоже живет иллюзиями, живет жизнью, самим

---

* Подробно об этом в исследовании Ю. Тынянова «Достоевский и Гоголь (к истории пародии)».

им придуманной. Образ Фомы является прообразом многих будущих героев Достоевского. Черты Опискина мы найдем и в характере Степана Верховенского из романа «Бесы», тоже приживальщика в доме генеральши. Он любит поговорить о возвышенных идеях, подчас не разбираясь в них, тоже пишет никому не нужные сочинения и тайком читает Поль-де-Кока; черты Опискина можно увидеть и в облике Федора Карамазова из романа «Братья Карамазовы», который тоже в свое время был шутом и приживалом.

Опискину в повести противопоставлен образ полковника Ростанева, которому писатель глубоко симпатизирует. Основная черта Ростанева — это стремление сделать так, чтобы всем было хорошо, чтобы никто не был в обиде. Человек он честный, добродушный и немного глуповатый. Он всегда со всеми соглашается и почти никогда не возражает, когда его в чем-нибудь обвиняют. Ростанев покорно выслушивает пространные нравоучения Фомы, соглашается с ним, что он «мрачный эгоист» и неуважительно относится к своей матери-генеральше, хотя ради нее он делает все, что только в его силах. Своих суждений, своего мнения, своего отношения к чему бы то ни было у полковника нет. Обо всем говорит он и судит с чужих слов. Он даже не всегда понимает, что Фома откровенно издевается над ним и унижает. У него и в мыслях нет оправдаться или оказать какое-нибудь сопротивление. Злу, лжи, лицемерию, царящему вокруг, полковник Ростанев противопоставляет только всепрощение, непротивление и доброту.

Интересно, что образом Ростанева писатель открывал галерею своих прекраснодушных героев: Алеши из «Униженных и оскорбленных», князя Мышкина из романа «Идиот», Макара Долгорукова из «Подростка» и т. д. Близость Ростанева к Мышкину несомненна. Ведь как тот, так и другой стремятся поселить среди людей согласие и доверие, верят, что добро может противостоять злу. Но в период пребывания в

Сибири Достоевский еще сомневался в полезности деятельности таких людей, не был до конца убежден, что они могут сгладить все противоречия и привести людей ко всеобщему счастью. Поэтому такого героя в повести «Село Степанчиково» Достоевский рисует пока еще в несколько комическом плане. Между тем мысль о том, что всепоглощающая доброта, смирение и всепрощение могут спасти человечество от зла, насилия и произвола, по-видимому, уже возникла в сознании писателя. Именно это позволило ему говорить о Ростаневе как об одном из «огромных типических характеров».

В повести «Село Степанчиково и его обитатели», кроме Опискина и Ростанева, писатель создал целую галерею удивительно своеобразных героев. Здесь и выжившая из ума, души не чающая в Фоме идиотка-генеральша, и ненавидящая весь мир, завистливая и желчная приживалка Перепелицына, и полное ничтожество, старающийся выглядеть «независимым и, может быть, вольнодумцем» Обноскин со своей мамашей, женщиной крикливой и вздорной, и лакей Видоплясов, мнящий себя очень деликатным и тонко чувствующим человеком, написавший цикл стихов под названием «Вопли Видоплясова», а теперь помешанный на том, чтобы изменить свою неблагозвучную фамилию на благородную — Эссбукетов, и Ежевикин, добровольный шут в доме Ростанева и т. д. К каждому из них у Достоевского свое отношение, каждого он наделяет глубоко индивидуальными чертами характера. Но всех этих героев писатель рисует в сатирическом плане, подчеркивая к ним свое глубокое презрение.

В повести есть и другая группа героев, к которым автор относится с глубоким сочувствием и симпатией. Это полковник Ростанев, о котором уже говорилось, его племянник Сережа, от имени которого ведется повествование, это Настенька, гувернантка в доме Ростанева, это Сашенька, дочь полковника. Но все эти герои, за исключением, может быть, Ростанева, очерчены в произведении гораздо менее выразительно, чем

отрицательные персонажи. Всех этих героев объединяет то, что они так же, как и полковник, хорошие люди. Но и они не знают, как бороться со злом, что следует предпринять, чтобы его уничтожить. И поэтому хотя эти герои и противостоят миру зла, насилия и произвола, царящему в Степанчикове, и сам писатель им глубоко сочувствует, но сделать что-либо они не в силах. Правда, иногда, доведенные до отчаяния, они пытаются протестовать, но протест их стихиен и кратковременен, да и сами они считают, что это не выход. Так постепенно и в творчестве Достоевского начинала звучать мысль о том, что путь борьбы, путь активного протеста ни к чему привести не может, что путь этот ложен.

Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» создавалась писателем почти одновременно с повестью «Дядюшкин сон» и тоже писалась с оглядкой на цензуру. Не случайно он уверял брата: «...цензура двух слов не выкинет. За это ручаюсь»[180]. Именно этим объясняется то обстоятельство, что в повести мало затронуты основные вопросы, которые волновали тогда русское общество. Писатель боялся скомпрометировать себя в глазах правительства, так как это грозило ему вечной военной службой и молчанием. А последнее было для писателя страшнее смерти.

Характерной особенностью повести «Село Степанчиково» является то, что она в творчестве Достоевского, как и повесть «Дядюшкин сон», занимает промежуточное положение. Она во многом близка к ранним произведениям писателя, в то же время в ней мы найдем некоторые мысли, развитые Достоевским в более позднем творчестве, и прообразы отдельных героев, созданных после возвращения из ссылки. Например, образ Видоплясова — отдаленный предшественник лакея Смердякова из романа «Братья Карамазовы», а образ Ежевикина с его характерным «польсти, польсти» местами буквально воспроизводит Лебедева из романа «Идиот».

Повесть «Село Степанчиково» предназначалась Достоевским для журнала «Русский вестник». Одна-

ко издатель журнала Катков, познакомившись с ней, отказался ее напечатать. Писатель в недоумении. В чем дело? Почему? «...Я уверен, — писал он брату, — что в моем романе есть очень много гадкого и слабого. Но я уверен — хоть зарежь меня! — что есть прекрасные вещи. Они из души вылились. Есть сцены высокого комизма, сцены, под которыми сейчас же подписался бы Гоголь»[181].

Достоевский просит брата предложить повесть в другие журналы, в «Современник», «Отечественные записки» или в «Светоч». Особенно ему хотелось, чтобы повесть получила одобрение в «Современнике», самом передовом и прогрессивном журнале того времени, редактор которого Н. А. Некрасов когда-то был одним из первых, кто увидел в Достоевском будущую знаменитость. Но и ему повесть не понравилась. Он предложил такие условия, которые по существу означали отказ. Это объяснялось, по всей вероятности, тем, что в «Селе Степанчикове» Достоевский хотя и обратился к изображению русской деревни (причем в первый и последний раз), но лишь слегка затронул наиболее злободневную проблему того времени, проблему борьбы против крепостного права. Даже то, что писатель всю силу своего таланта направил на разоблачение порядков и нравов, господствующих в дворянских гнездах, не спасло положения. Повесть все-таки оказалась несколько в стороне от основного русла развития русской литературы.

Пока шли переговоры о напечатании повести «Село Степанчиково», писатель продолжал напряженно работать. Более отчетливо вырисовываются в его воображении «Записки из мертвого дома» и роман «Униженные и оскорбленные», а кроме этого, он не оставляет надежды написать «большой» роман, из которого выделил повесть «Дядюшкин сон». Одновременно Достоевский задумал написать роман о человеке, «которого высекли и который попал в Сибирь», роман со «страстным элементом», о котором сообщал брату и, наконец, «исповедь-роман», трилогию, задуманную еще «в каторге, лежа на нарах, в тяжелую

минуту грусти и саморазложения»[182]. Что это были за произведения, во что в конце концов превратились эти замыслы, сказать трудно. По всей вероятности, большинство из них в той или иной форме, в том или ином объеме были включены Достоевским в произведения, написанные после возвращения в Россию.

*

Последние годы жизни Достоевского в Семипалатинске не богаты внешними событиями. Служба, литературные занятия и снова служба. И так изо дня в день. В мае 1857 года писателю было возвращено право потомственного дворянина, что формально свидетельствовало о полном прощении прежней вины. Но на деле он по-прежнему находился под негласным тайным надзором.

Последнее время Достоевский жил только одной мыслью — вернуться в Россию. «Давит меня Сибирь»[183], — жалуется он в письме к своей сестре В. М. Карепиной. Его беспокоят все усиливающиеся припадки эпилепсии, которые с каждым разом становились все тяжелее и после которых Федор Михайлович чувствовал изнуряющую слабость и невыразимую тоску. В письмах к родным он говорил о необходимости показаться знающим врачам и приступить к серьезному лечению, о котором в Сибири не могло быть и речи. Для этого нужно было ходатайствовать об отставке.

В конце 1857 года Достоевский подает прошение своему начальству с просьбой освидетельствовать его и дать заключение о непригодности к военной службе. Врач Ермаков, прикомандированный к седьмому Сибирскому батальону, в «свидетельстве», выданном Федору Михайловичу, писал: «Лет ему от роду 35, телосложение посредственное, в 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни (Epilepsia), которая обнаруживалась: вскрикиванием, потерею сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием с малым, скорым, сокращенным пульсом. В 1853 году этот при-

падок повторился и с тех пор является в конце каждого месяца.

В настоящее время г. Достоевский чувствует общую слабость сил в организме при истощенном телосложении и частовременно страдает нервною болью лица...

Хотя г. Достоевский пользовался от падучей болезни почти постоянно в течение четырех лет, но облегчения не получил, а потому службы Его Величества продолжать не может»[184].

Вслед за этим Федор Михайлович пишет прошение царю, в котором просит разрешение выйти в отставку и поселиться в Москве.

Прошение писателя вместе с резолюциями семипалатинского военного начальства и командира отдельного Сибирского корпуса отправилось путешествовать по нескончаемой бюрократической лестнице. Сначала оно попало в инспекторский департамент военного министерства. Оттуда были посланы запросы в аудиториатский департамент того же министерства и в III отделение с просьбой уведомить, не встречается ли с их стороны «препятствия к испрашиваемому увольнению прапорщика Достоевского от службы с дозволением иметь по отставке жительство в Москве»[185], на что III отделение ответило, что препятствий не видит, но потребовало, чтобы Достоевский «с увольнением в отставку, подвергнут был в местах его жительства секретному надзору»[186]. Кроме того, сообщалось, что согласно «общепринятому порядку всем политическим преступникам, получающим всемилостивейшее прощение, предоставляется право жительства во всех местах империи, кроме столиц»[187]. То же самое ответил и аудиториатский департамент.

После этого инспекторский и аудиториатский департаменты вели еще долгую и бесплодную переписку «относительно порядка увольнения от службы прапорщика Сибирского линейного № 7 батальона Достоевского». Потом в Сибирь полетели запросы о том, где намеревается он жить, так как въезд в С.-Петербургскую и Московскую губернии ему воспрещен.

В ожидании отставки Достоевский не находил себе места. Проходил месяц за месяцем, а из Петербурга по-прежнему не было никаких известий. Казалось, уже никаких препятствий не должно было быть. Офицерский чин и дворянство, да к тому же тяжелая болезнь — все это давало право выйти в отставку.

Трудно было Федору Михайловичу в последнее время. Сменилось батальонное начальство. Прежний командир батальона подполковник Белихов, растратив казенные деньги, покончил с собой. На его место прислали майора Денисова. Был он, правда, человеком неплохим, но, как говорил сам Достоевский, «новое начальство — новые порядки». Пришлось выполнять новые требования. Большинство прежних знакомых разъехалось, пойти было некуда, и Достоевские предпочитали проводить время дома. Только с А. И. Гейбовичем, со своим ротным командиром, Достоевский поддерживал дружеские отношения, и они часто бывали друг у друга.

Жизнь Федора Михайловича во многом осложнялась обострившимися отношениями с женой. Марию Дмитриевну писатель горячо и искренне любил, но с ее стороны не было такого же глубокого чувства. Было скорее просто женское сострадание, а может быть, и жалость ко всеми отвергнутому и одинокому человеку. Достоевский это понимал, но думал, что со временем Мария Дмитриевна ответит ему если не любовью, то нежной привязанностью. Первое время все было хорошо. Мария Дмитриевна была внимательна и проявляла трогательную заботу о муже. О Достоевском нечего было и говорить. Он был счастлив. Жили супруги скромно и на материальные затруднения старались не обращать внимания. Но шло время, улеглись первые восторги, жизнь вошла в свою привычную колею, и с каждым днем Федор Михайлович все острее и острее чувствовал, насколько они с женой разные люди.

Мария Дмитриевна была человеком с болезненным самомнением. Она не уставала говорить о своем почти аристократическом происхождении, о своем презрении к окружающим людям. Не обошлось, по-види-

мому, и без попреков в адрес Федора Михайловича, брак с которым она считала для себя если не унизительным, то во всяком случае неравным.

Вначале Достоевский старался ничего не замечать, относя все это за счет раздражительного характера Марии Дмитриевны и за счет того, что ей пришлось пережить за последние годы. Мало-помалу подобные разговоры стали угнетать его, надолго выбивали из колеи, мешали работать, думать, сосредоточиться. Все становилось немило, все выводило из себя. К этому примешивалась досада и огорчение на слишком уж затянувшуюся волокиту с отставкой. В конце 1858 года Федор Михайлович с горечью писал Е. И. Якушкину: «Живу в Семипалатинске, который надоел мне смертельно; жизнь в нем болезненно мучит меня... Можете ли вы себе представить, что даже самые занятия литературой сделались для меня не отдыхом, не облегчением, а мукой. Это уже хуже всего. Во всем виновата моя обстановка и болезненное положение мое» [188].

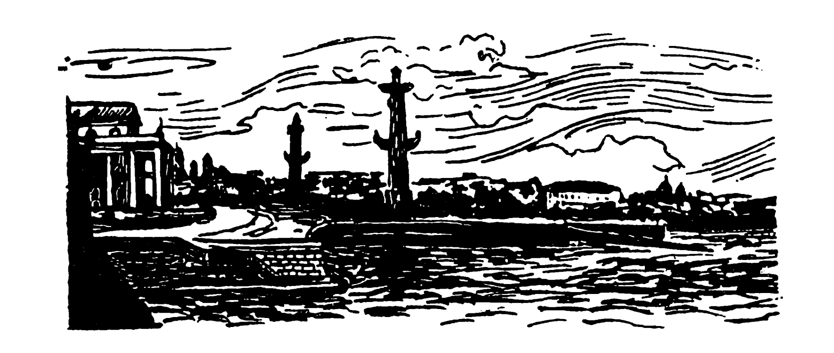
Наконец, спустя почти полтора года вышла долгожданная отставка. Высочайшим приказом от 18 марта 1859 года Достоевский был «уволен за болезнью от службы, с награждением следующим чином»[189]. Однако сам писатель об отставке узнал лишь в начале мая. Предстояло еще множество хлопот по оформлению документов, по сдаче дел, прежде чем он окончательно рассчитался со службой.

Немало беспокойства доставили писателю сборы в дорогу. Нужны были деньги. Не так просто было проехать с семьей на лошадях почти четыре тысячи верст. Нужно было приобрести экипаж, дорожные вещи и множество всевозможных предметов. А денег не было. Опять полетели письма в Петербург с просьбами, опять приходилось вот уже в который раз прибегать к помощи брата.

В сборах прошел май, потом июнь. Наконец все дела были закончены: документы оформлены, куплен тарантас, вещи сложены. Можно было трогаться в путь.

Ранним утром 2 июня 1859 года у дома Лопухова, что на Крепостной улице, суетилась кучка людей. Это друзья и сослуживцы бывшего прапорщика Достоевского пришли проводить его в дальнюю дорогу. Много было произнесено теплых слов, заверений в вечной дружбе, долго жали друг другу руки, пока ямщик, до сих пор спокойно взиравший на эту картину, взглянув на высоко уже поднявшееся солнце, слегка не тронул лошадей. Поневоле пришлось расстаться. И еще долго-долго оставшиеся махали вслед экипажу. Мария Дмитриевна давно уже перестала оглядываться, а Достоевский все смотрел, смотрел, как будто хотел на всю жизнь запечатлеть в своем воображении и этот город, нелепо поднявший в небо круглые башни минаретов, и купола церквей, и безбрежные степные просторы, которые его окружали, и широкую гладь Иртыша. Он знал, что видит это все в последний раз, понимал, что мало хорошего видел здесь, и все-таки радостное чувство возвращения на родину, домой, в Россию, перемешивалось в нем с легкой грустью. Ведь здесь он прожил пять с лишним лет и успел полюбить могучий, богатый край. И невольно в голову приходили мысли о будущем Сибири, о том, что здесь будет через пятьдесят, сто лет, как будут здесь жить люди.

А коляска тем временем, оставляя за собой широкий шлейф пыли, катилась все дальше и дальше. Впереди была свобода, новая жизнь!



ЭПИЛОГ

ЖАРКИМ июльским днем по узкой горной дороге усталая тройка тащила запыленный экипаж. Видно было, что позади у него осталась не одна сотня верст: когда-то блестящие крылья потускнели, покрылись толстым слоем пыли, краска выгорела на солнце и местами об-

лупилась. Пассажиров было трое: средних лет мужчина, молодая еще женщина и мальчик лет двенадцати. В подорожной значилось: отставной прапорщик линейного Сибирского батальона № 7 Федор Достоевский с семьей направляется в губернский город Тверь.

Вот уже скоро две недели, как Федор Михайлович выехал из Семипалатинска. И почти все это время пришлось провести в коляске. Задержались на несколько дней только в Омске. Нужно было оформить документы и забрать из Омского кадетского корпуса Пашу Исаева.

Многое изменилось в Омске за те пять лет, которые не бывал в нем Достоевский. Разъехались друзья и знакомые. Перебрались в Петербург Константин Иванович и Ольга Ивановна Ивановы, приютившие писателя после выхода из острога, уехал Дуров, с кем вместе пришлось мыкать горе на каторге, уехали и другие. Изменился и город. Появились новые дома, оживленнее стало на улицах, всюду чувствовалось биение пульса большого города.

Радостной была встреча Достоевского с Валихановым, который только что вернулся из опасного путешествия в Коканд, откуда привез массу интересного материала. Молодой казахский ученый как будто спешил выполнить предсказание Федора Михайловича о своем замечательном будущем. До поздней ночи рассказывал Валиханов о своем путешествии, о своих планах, о предстоящей поездке в Петербург. Встретился Достоевский и с Ждан-Пушкиным, преподавателем Омского кадетского корпуса, который принимал в судьбе писателя самое искреннее участие. Появились и новые друзья. Валиханов познакомил Федора Михайловича с «хорошим семейством» Капустиных, о которых писатель позднее говорил как о людях простодушных и благородных, с хорошим сердцем.

С интересом глядел вокруг писатель. Все вокруг было новым и необычным. Ведь по дороге в Сибирь петрашевцев везли глухими проселочными дорогами,

везли быстро, не давая возможности нигде ни остановиться, ни осмотреться как следует. Теперь все было иначе. Теперь он ехал назад, домой, в Россию.

С волнением ждал Федор Михайлович тот день, когда экипаж должен был пересечь границу Азии и Европы. Он очень хорошо помнил тот день, когда впервые подъезжал к ней. Снег, метель, кибитки, увязшие в снегу, и в вечерних сумерках среди бушующей пурги — обелиск с надписью: «Европа — Азия». Десять лет прошло с тех пор. Десять вычеркнутых из жизни, десять напрасно прожитых лет!

— Напрасно ли? — невольно спросил себя Достоевский. И сам себе ответил: «Нет. Не зря я побывал здесь. Многое узнал я, многим обогатился».

Солнце уже заметно склонилось к горизонту, когда наконец из-за поворота показался долгожданный обелиск. Не таким запомнил его писатель. Стал он внушительнее и строже, но все равно Достоевский не мог без волнения смотреть на него. «Европа», — с наслаждением по слогам прочитал Федор Михайлович.

Европа, Россия, о которых он не переставал мечтать все эти годы, которых временами уже не надеялся даже увидеть, были перед ним. «Я перекрестился, что привел, наконец, господь увидеть обетованную землю»[190], — рассказывал писатель в письме к А. И. Гейбовичу.

Невдалеке от обелиска стояла сторожка, а в ней жил солдат-инвалид, которого высшее начальство поселило здесь, по-видимому, для охраны границы двух материков. Но как бы там ни было, приятно было в этой глуши увидеть живого человека. Из тарантаса появилась плетеная фляжка с померанцевой, и Достоевский вместе с ямщиком и инвалидом выпил за прощание с Азией, с Сибирью, за встречу с Европой и Россией.

* *

Почти полтора месяца добирался Федор Михайлович до места. Только в середине августа, измученный, полубольной, Достоевский вместе с семьей прибыл в Тверь.

Город сразу не понравился писателю. «Тверь самый ненавистнейший город на свете»[191], — с горечью писал Федор Михайлович брату. Ему было трудно примириться с тем, что где-то, совсем рядом, в Петербурге и в Москве, ключом била жизнь. Оттуда приходили известия о все усиливающихся спорах между отдельными общественными группировками. Там, в столицах, велась ожесточенная полемика по самым различным вопросам. Достоевский жадно прислушивался ко всему, что там происходило, и ему самому не терпелось поскорее с головой окунуться в жаркие споры. А сказать, по мнению Федора Михайловича, у него было что. И он мечтал только об одном — поскорее выбраться из Твери. Об этом он думает и днем и ночью, об этом он просит друзей, брата. «...Теперь я заперт в Твери, и это хуже Семипалатинска, — жалуется писатель А. Е. Врангелю.— Хотя Семипалатинск, в последнее время, изменился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного светлого воспоминания) — но Тверь в тысячу раз гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов — даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма!»[192]

Поглощенный одним желанием — поскорее уехать из Твери, Достоевский не видел и не хотел видеть, что происходило вокруг него. Всеми своими помыслами он был там, в столице. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что он не обратил внимания на выступления известного либерального деятеля того времени А. Унковского, жившего в Твери.

Трудно найти хотя бы одно письмо, написанное Достоевским в это время, в котором бы не слышались горькие сетования на свою судьбу. «Положение мое здесь тяжелое, скверное и грустное. Сердце высохнет. Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия...»[193] — восклицал Федор Михайлович в одном из писем брату. — «Жизнь моя здесь ужасная...»[194], — жаловался он в другом.

Уже через несколько дней после приезда в Тверь Достоевский начинает хлопотать о разрешении пере-

селиться в Петербург. Снова он просит Э. И. Тотлебена похлопотать за него. А вслед за этим посылает прошение на высочайшее имя, где, ссылаясь на свое расшатанное здоровье, просит позволения жить в столице, чтобы иметь возможность пользоваться квалифицированной врачебной помощью.

В начале ноября Тотлебен известил Федора Михайловича о том, что шеф жандармов Долгоруков и министр внутренних дел Тимашев не возражают против его приезда в Петербург, но, поскольку Достоевский послал прошение на имя царя, вынести какое-либо решение до получения ответа от царя они не решились.

Снова потянулись бесконечные дни ожиданий. Наконец 25 ноября губернатор Твери П. Т. Баранов в письме к Достоевскому сообщил ему о «высочайшем разрешении» жить в столице. А неделю спустя последовало распоряжение петербургского военного губернатора обер-полицмейстеру Петербурга об установлении за писателем секретного надзора.

На сборы и хлопоты ушло больше двух недель. Только во второй половине декабря Федору Михайловичу удалось выбраться из Твери. Ровно десять лет не был Достоевский в Петербурге. Он вернулся туда в самый разгар бушевавших там политических страстей, когда революционный кризис в стране приближался к своей кульминации.

Те несколько месяцев, которые прожил Достоевский в Твери, не прошли для него даром. Все это время он много и напряженно работал. В своих письмах писатель делился с братом замыслами своих новых произведений, сообщал о работе над «Записками из мертвого дома», о намерении выпустить отдельным изданием свои ранние повести и рассказы, уговаривал брата «рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие, — журнал, например...»[195].

Все это говорит о том, что Достоевский серьезно и тщательно готовился к возвращению в литературу, к жарким спорам, которые велись тогда на страницах газет и журналов. «...Работать, воевать, создать себе

имя литературное, — вот чего я теперь хочу»[196], — говорил писатель брату. Но если как художник Достоевский возвращался в Петербург, обогащенный огромным жизненным материалом, более глубоким знанием человеческой психологии, то как общественный деятель он оказался совершенно неспособным правильно сориентироваться в ожесточенной классовой борьбе, которая развернулась в 60-е годы прошлого века в России.

Неглубокое усвоение идей утопического социализма, ужасы каторги и солдатчины, оторванность от центров движения общественной мысли, невозможность систематически следить за событиями общественно-политической жизни того времени, напряженная борьба за свое освобождение — все это помешало Достоевскому понять и глубоко разобраться в сущности общественных процессов, происходивших в стране к моменту его возвращения из Сибири. Писатель вернулся на родину противником революционных преобразований, глубоко убежденный в том, что смирение и покорность являются основными нравственными идеалами русского народа. Он был твердо уверен в необходимости примирения господствующих классов с простым народом, убежден в могуществе идей православной церкви, способных, по его мнению, разрешить все общественные конфликты.

Прошло немного времени, и Достоевский в своих произведениях и статьях стал упорно доказывать, что любой протест, будь это протест индивидуальный или общественный, греховен и что путь к спасению человечества от всех зол — в покорности и смирении. Однако глубокое знание писателем жизненного материала, умение показать обстоятельства жизни человека, заглянуть в его внутренний мир приводили к тому, что Достоевский силой своего художественного гения опровергал самого себя, свои реакционные взгляды и убеждения. Его произведения лишний раз говорили о том, что жизнь требует коренных преобразований и что эти преобразования обязательно произойдут, и произойдут не по тем рецептам, которые писатель пы-

тался разработать, а в результате объективно действующих законов, предполагающих неизбежное крушение старого и торжество нового в результате революционных потрясений.

Революционно-демократические критики в лице Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, М. Е. Салтыкова-Щедрина уже тогда обратили внимание читателей на глубочайшие противоречия в творчестве Достоевского. В своих статьях и рецензиях они опровергали реакционные заблуждения писателя и доказывали, что все классовые противоречия и жизненные конфликты, которые с таким блеском и глубиной отображал Достоевский, не могут быть разрешены иначе, чем революционным путем.

Страшные годы каторги и ссылки не угасили могучий творческий гений Достоевского, но они заставили его пересмотреть свои прежние убеждения, отказаться от былых устремлений, что привело писателя в конце концов в лагерь реакции. Вместе с тем пребывание в Сибири дало ему возможность ближе познакомиться с жизнью народа, сделало его еще более чутким и отзывчивым к народным страданиям. Сибирский период жизни Достоевского является, таким образом, важным этапом в формировании мировоззрения и творческого метода писателя.

* * *

Пребывание в Сибири оставило неизгладимый след в творческом сознании Достоевского. Трудно представить себе, сколько горя и страданий увидел за это время писатель. Перед его глазами прошли сотни несчастных людей, и у каждого из них была своя судьба, свое горе, свои мучения. Встречал Федор Михайлович в Сибири и «своевольных» людей, людей, потерявших чувство долга и совести. На каторге и в ссылке Достоевский слышал удивительно пеструю и в то же время такую яркую и образную речь, что нередко сам не находил слов для выражения своего восхищения. Все это впоследствии было широко использовано писателем в его произведениях.

Какая галерея изумительно вылепленных героев проходит перед нами в бессмертных «Записках из мертвого дома»! В этом произведении, отразившем все ужасы царской каторги, прозвучал страстный голос писателя-гуманиста в защиту сотен обездоленных и угнетенных, против самодержавно-крепостнического строя, уродующего и калечащего человека. В «Записках из мертвого дома» Достоевский нарисовал бескрайние сибирские просторы, на которые с такой грустью смотрели запертые в остроге арестанты. О Сибири Достоевский говорил и во многих других произведениях, написанных после возвращения на родину. В них Сибирь предстает перед читателем, с одной стороны, как край человеческих мук и страданий, а с другой — как обетованная земля, ждущая людей, которые раскрыли бы и использовали ее богатства.

Николай Сергеевич Ихменев — герой романа «Униженные и оскорбленные», доведенный до отчаяния обрушившимися на него несчастьями, восклицает: «Брошу все, уеду в Сибирь»[197]. Сибирь представляется ему как нечто ужасное, куда можно поехать, только потеряв всякую надежду, разочаровавшись во всем, потеряв веру в людей. А другой герой романа, писатель Иван Петрович, который во многом наделен автобиографическими чертами, говорит: «В Сибири совсем не так дурно, как кажется... В Сибири можно найти порядочное место...»[198]. Это говорил сам писатель, который за десять лет многое видел в Сибири, многое познал. Ему теперь была ближе именно эта Сибирь, Сибирь как богатейший край, край неиспользованных возможностей.

О Сибири Достоевский писал в романе «Преступление и наказание». Здесь тоже она рисуется писателем как место, где отбывает наказание за совершенное преступление герой романа Раскольников, и одновременно как край, где «почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало»[199]. Такой Сибирь рисовалась другому герою произведения — Разумихину.

Кстати, подобные мысли в свое время возникали и

у самого Достоевского, когда он, потеряв всякую надежду выбраться из Сибири, в письмах к брату говорил, что «...здесь, в Сибири, с очень маленьким капиталом... можно делать хорошие и верные спекуляции»[200].

Конечно, это был только один из планов обогащения, которые часто возникали у писателя, вечно нуждавшегося в деньгах. Но слова эти говорят и о том, что Достоевский видел неиспользованные богатства края и допускал возможность проникновения в Сибирь капитала, хотя и понимал, что это принесет сюда новые неисчислимые бедствия и страдания.

В той или иной мере о Сибири упоминается в романах «Бесы», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы», а также и в «Дневнике писателя».

Годы, проведенные в Сибири, обогатили писателя, расширили его представления о жизни, позволили ему глубже узнать и почувствовать невыносимость страданий оскорбленного и униженного человека.

Достоевскому казалось, что должно когда-нибудь наступить всеобщее счастье на земле, счастье не для одного человека, а для всех без исключения людей. Он мечтал о всемирном братстве, где человек мог бы всесторонне и гармонично развиваться, но он ошибался, предполагая, что это братство наступит в результате торжества христианских идей.

Сегодня мы видим, что не религия, а идеи коммунизма сплотили наш народ в едином стремлении к новой жизни, вдохновили его на славные трудовые подвиги. Не смирение и покорность освободили человека от векового угнетения, а социалистическая революция сделала его хозяином своей страны, творцом своего будущего.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Наиболее значительные из них:
   Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. М.—Л., 1922.
   Л. П. Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924.
2. В. Кирпотин. Достоевский в Сибири. «Литературная газета», 1956, 9 февраля.
   В. Кирпотин. Сибирь, по местам Достоевского. «Октябрь», 1959, № 6.
   В. Кирпотин. Записки из мертвого дома. Сб. «Творчество Достоевского». М., АН СССР, 1959.
3. А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—56 гг. Спб., 1912.
4. «Исторический вестник», 1903, № 1.
5. В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 9.
6. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 и 1876 гг. Соч., т. XI, М.-Л., Госиздат, 1929, стр. 135. Далее ссылки на это издание.
7. Там же, стр. 10.
8. А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. Спб., 1890, стр. 203—204.
9. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1. М.—Л. Госиздат. 1928, стр. 127. Далее ссылки на это издание.
10. Там же, стр. 127.
11. Там же, стр. 125.
12. Там же, стр. 127—128.
13. Там же, стр. 124.
14. «Русский инвалид», 1849, 22 декабря, стр. 1102.
15. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 178.
16. «Русский инвалид», 1848, 22 декабря, стр. 1101.
17. Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10 томах, т. 6 Гослитиздат, 1957, стр. 70—71. Далее ссылки на это издание.
18. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XI, стр. 138.

19. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 129—130.
20. Там же, стр. 130.
21. Там же, стр. 130.
22. Там же, стр. 129.
23. Там же, стр. 130.
24. Там же, стр. 124.
25. Там же, стр. 130.
26. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XI, 1929, стр. 135.
27. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 131.
28. Там же, стр., 131.
29. А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. Спб., 1890, стр. 193—194, 197—198.
30. М. Ф. Достоевский. Письма, т. I, стр. 134.
31. Там же, стр. 134.
32. Цит. по книге «Биография, письма, заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб., 1883, стр. 126.
33. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 135.
34. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XI, стр. 10.
35. «Исторический вестник», 1888, № 6, стр. 628—629.
36. «Рабочий путь», 1916, № 84.
37. «Литературное наследство», т. 22—24, М., 1935, стр. 705.
38. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 395.
39. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 135.
40. Там же, стр. 135.
41. Ф. М. Достоевский. Соч., т. 3, стр. 673.
42. Там же, стр. 677—678.
43. Там же, стр. 401.
44. Там же, стр. 398.
45. А. Милюков. Литературные встречи и знакомства, Спб., 1890, стр.
46. Там же, стр. 453.
47. Там же, стр. 417.
48. «Исторический вестник». 1895, № 11, стр. 449.
49. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 651.
50. Там же, стр. 671.
51. Там же, стр. 671.
52. Цит. по журн. «Каторга и ссылка», 1933, № 10, стр. 65.
53. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 404.
54. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 135.
55. А. М. Скабичевский. Соч. в 2-х т., т. 2. Спб., 1903, стр. 724.
56. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 629.
57. Там же, стр. 655—656.
58. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 136.
59. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 419.
60. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 136.
61. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 437.

62. Там же, стр. 438—439.
63. «Исторический вестник», 1881, т. XXXI, стр. 40.
64. В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, М., 1948. стр. 710.
65. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 142.
66. Там же, стр. 142.
67. Там же, стр. 142.
68. Там же, стр. 143.
69. «Исторический вестник». 1895, № 11, стр. 448—451.
70. Там же, стр. 453.
71. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XI, стр. 188.
72. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XII, стр. 32.
73. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 550.
74. Там же, стр. 622.
75. Tygodnik. Jillustrowany, 1911, № 39, Warzawa, стр. 766
76. S. Takazzwski. Sedem lat katorgi. Warzawa. 1907, стр. 168..
77. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 628.
78. Слова второй жены писателя А. Г. Достоевской. Цитируются по книге Л. П. Гроссмана «Семинарий по Достоевскому». М.—П., 1922.
79. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 491.
80. Там же, стр. 580.
81. «Исторический вестник». 1895, № 11, стр. 455—456.
82. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 163.
83. Там же, стр. 139.
84. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Соч., т. XI, стр. 191.
85. Там же, стр. 191.
86. «Звенья», т. VI. М.—Л., Academia, 1936, стр. 505.
87. Там же, стр. 506.
88. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3. стр. 544.
89. Там же, стр. 552.
90. «Звенья», т. VI. М.—Л., Akadeinia, 1936, стр. 506.
91. Там же, стр. 510.
92. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 553—554.
93. «Звенья», т. VI. М.—Л., Akademia стр. 519.
94. «Огонек», 1946, № 46—47, стр. 28.
95. Там же.
96. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 701.
97. Там же, стр. 702.
98. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 148.
99. Там же, стр. 139.
100. Там же, стр. 178.
101. «Большевик», 1942, № 16, стр. 39.
102. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 165.
103. Там же, стр. 139.
104. Там же, стр. 143.

105. Там же, стр. 139.
106. Там же, стр. 143.
107. Там же, стр. 145.
108. Там же, стр. 146.
109. Там же, стр. 159.
110. «Сибирский архив», 1913, № 1, стр. 5.
111. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 145.
112. Там же, стр. 147.
113. «Сибирский архив», 1913, № 1, стр. 5.
114. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 182.
115. Там же, стр. 147.
116. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 529.
117. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, М.—Л., 1930. стр. 568.
118. Там же, т. II, стр. 560
119. А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—56 гг. Спб., 1912, стр. 25. Далее ссылки на это издание.
120. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 163.
121. А. Е. Врангель. Воспоминания, стр. 63.
122. Там же, стр. 35.
123. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 139.
124. Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. XI. Спб., стр. 359.
125. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 145.
126. Там же, стр. 166.
127. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 585.
128. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 184.
129. Там же, стр. 221.
130. Там же, стр. 150.
131. Там же, стр. 164.
132. А. Е. Врангель. Воспоминания, стр. 70.
133. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 166.
134. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 570.
135. А. Е. Врангель. Воспоминания, стр. 40.
136. Ч. Валиханов. Статьи. Переписка. Алма-Ата, 1947. стр. 107.
137. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 201.
138. Там же, стр. 202.
139. Там же, стр. 201.
140. Ч. Валиханов. Статьи. Переписка, 1947, стр. 118.
141. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 152.
142. «Туркестанские ведомости», 1893, 14 (26) февраля, стр. 49.
143. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 708.
144. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 529.
145. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 717.
146. Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 156,

147. Там же, стр. 157.
148. Ф. М. Достоевский. Письма, т II, стр. 559.
149. Там же.
150. Там же, стр. 561.
151. Там же, стр. 565.
152. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 180.
153. Там же, стр. 173.
154. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 718—719.
155. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 187—188.
156. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 191.
157. Там же, стр. 192.
158. Там же, стр. 192.
159. Там же, стр. 194.
160. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 722.
161. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 198.
162. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 570.
163. Там же, стр. 570.
164. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 204—205.
165. Там же, стр. 205.
166. П. П. Семенов-Тян-Шанский. Путешествие в Тянь-Шань. М., 1947, стр. 192.
167. «Русская старина», 1892, № 3, стр. 696.
168. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 580.
169. Там же, стр. 581.
170. «Исторический вестник». 1885, № I, стр. 127.
171. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 165.
172. Там же, стр. 165.
173. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 589.
174. Там же, стр. 589.
175. «Воспоминания А. Г. Достоевской». ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 55.
176. Ф. М. Достоевский. Письма, т. III, стр. 85.
177. Там же. т. II, стр. 596—597.
178 Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 246.
179. Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского, 1935, стр. 96.
180. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 253.
181. Там же, стр 251.
182. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 608.
183. Там же, стр. 584.
184. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 729.
185. Там же, стр. 730.
186. Там же, стр. 731.
187. Там же, стр. 732—733.
188. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 240—241.
189. «Литературное наследство», тт. 22—24, М.—Л., 1935, стр. 735.

190. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 270.
191. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 600.
192. А. Е. Врангель. Воспоминания, стр. 199.
193. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 258.
194. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 608.
195. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 286.
196. Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, стр. 608.
197. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, стр. 77.
198. Там же, стр. 78.
199. Там же, т. 5, стр. 562.
200. Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 561

ОГЛАВЛЕНИЕ

Николай Иванович Якушин
ДОСТОЕВСКИЙ В СИБИРИ

Редактор Н. Соколова
Техн. редактор Г. Рудина
Худож. редактор О. Красова
Корректор С. Попова

Сдано в набор 26/III-1960 г. Подписано к печати 22/VI-1960 г.
Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. 10,82. Уч.-изд. л. 10,63
Тираж 15 000. ОП09318. Заказ № 2336. Цена 5 р. 25 к.

Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Володарского, 26.

Типография «Кузбасс». Кемерово, Сталина, 66.

Дорогие читатели!

Ваши отзывы о содержании и оформлении книги присылайте по адресу: Кемерово, ул. Володарского, 26, областное книжное издательство.

6 р. 25 к.
С 1.1. 1961 г. 63 к.